

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ
И КУЛЬТУРЫ

X

ПРАГА

1927

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на ежемесячный журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и
В. В. Сухомлина.

В каждом номере « ВОЛИ РОССИИ »: Рассказы, новости, стихотворения. Переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы. Статьи по вопросам русской и иностранной политики. Систематические обзоры жизни Советской России. Проблемы современной культуры. Жизнь славянства. Статьи иностранных авторов по вопросам международной политики. Литературные отклики. Обзоры новых книг и журналов. Библиография.

За 1926 год в журнале были помещены произведения следующих русских авторов: Аноним (Россия), Б. Аратов, В. Архангельский, К. Бальмонт (Париж), Н. Безпалов, П. Булатов, Д. Вяткин (Россия), С. Верещак, Н. Воронович (Варшава), Е. Зноско - Боровский (Париж), проф. А. Герш (Женева), Д. Ивицкая (Россия), З. Кочеткова (Брюссель), А. Коршунов (София), П. Климушкин, К. Кочаровский, И. Калинин, Е. Лазарев, Л. Леонов (Россия), Вл. Лебедев, проф. И. И. Лапшин, Б. де Люнель (Россия), Д. Лутохин, Н. Мельникова - Папоушек, П. Милославский, Е. Недзельский, И. Нечитайлов (Загреб), С. Новиков (Белград), Невидимцев, Б. Нерадов (Россия), П. Орлушин, С. Постников, А. Пешехонов, А. Ремизов (Париж), Ф. Репейников, С. Раппорт (Лондон), Н. Русанов (Ницца), Л. Россель, Н. Рубакин (Лозанна), М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин, В. Тукалевский, Г. Фальчиков, Г. Шрейдер, М. Цветаева, А. Цаликов, В. Чернов, Ю. Данилов (Париж), проф. Ульянов (Лозанна).

Кроме того, были помещены следующие специально для «Воли России» написанные статьи иностранных авторов: Рудольф Брейтшайд (Германия), Ван-Чу-Фу (Китай), Шарль Вильдрак (Франция), Тадеуш Голувко (Польша), Гануш Ежинец (Чехословакия), Бласко Ибаньес (Испания), Рихард Линстром (Швеция), Альсинг Андерсен (Дания), Рамзей Макдональд (Англия), Александр Олар (Франция), Сант Яго (Испания), Коста Тодоров (Болгария), Альбер Тома (Швейцария), Свентаржицкий (Финляндия), Генрих Штребель (Германия), Дживонани Зиборди (Италия), А. Хондокарян (Армения), С. Янимос (Греция) и др.

Произведения следующих иностранных авторов были помещены в переводе с их согласия или согласия издателей: Г. Апполлинер (Франция), В. Вавчура (Чехословакия), Э. Бенеш (Чехословакия), Ю. Волькер (Чехословакия), О. Бржезна (Чехословакия), Т. Масарик (Чехословакия), М. Пруст (Франция), Я. Папоушек (Чехословакия), М. Эбергард (Франция).

Цена настоящего номера: Во всех странах Европы — 50 цент.
В Америке, Китае и Японии — 80 центов.

Адрес редакции и конторы:

«VOLJA ROSSII», Uhlény trh I, PRAGUE Tchécoslovaquie.

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛЕНОВА

6-ой ГОД ИЗДАНИЯ

X

ПРАГА

PRAGA, UHELNÝ TRN CÍŠ I

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Федоров. Деревянный мир	
Владимир Диксон. Крестик (Бретонская легенда)	3
Вячеслав Лебедев. Из цикла «Стихи о современности»	4
Глеб Гонцов. Снова по родной земле (Путевые впечатления нелегального)	4
Марк Слоним. Десять лет русской литературы	6
К. Кочаровский. Пути XX века	7
Вл. Лебедев. С точки зрения русского.	9
Е. Сталинский. Куда идет большевизм	11
С. Верещак. Заколдованный круг (Кризис сельскохозяйственного производства в России)	13
Славянский обзор:	
Густав Крклец. Югославия и современная русская литература	14
В. Р. Правда о македонской организации	14
Иностранцы о России:	
С. В. Что я видел в России (Из впечатлений профессора Славика)	15
Среди книг и журналов:	
Н. Мельникова-Папоушек. О русской моде и страхе перед Россией	16
Б. А. Обзор журналов	17
М. Сл. Книжные новости	18
Отзывы о книгах:	
Д. Селиванов. Г. Винокур. Библиография и культура.	
Д. Градарев. В. В. Альбанов. Между жизнью и смертью.	
Ф. Репейников. Вл. Ивановский. Методологическое введение в науку и философию.	
Л. Залетаев. М. В. Нечкина. Общество объединенных славян.	

ДЕРЕВЯННЫЙ МИР

В год двадцать первый русская революция печаталась на ремингтоне. Печатали барышни и молодые люди, бывшие генералы и адвокаты, но больше, конечно, барышни и уж, конечно, барышни стриженные и бойкие. Торопливо грызла барышня яблоко, перебрасывалась кокетливой фразой с каким либо политкомом, или просто комом, смеялась и стучала на ремингтоне. Буквы ползли серыми ровными стежками:

«Тук-тук, тук-тук... Бажанов Иван... Чеботаренко Павел... по постановлению ревтрибунала... к расстрелу...»

В год двадцать первый можно было умереть со смеха, но умирали главным образом от тифа, с голода и по приказанию Чеки. В этот же самый год случилось одно весьма комичное происшествие—чиновник Губпродкома, Николай Петрович Клочков, обмолвившись, назвал заведующего канцелярией «господином». Случай этот, сам по себе пустяковый, повлек за собой однако весьма серьезные события. Заведующий канцелярией добрейший Аким Иванович, заслуженный коммунист и почтенный партиец, просто обомлел от огорчения и минуты три стоял посреди комнаты с разинутым ртом.

«Это вы что же? — спросил он, наконец, приходя в сознание. Как же это вы так?»

И уставился на Клочкова круглыми, подслеповатыми глазами. Неизвестно, чем бы могло закончиться все это незначительное в сущности происшествие. Быть может, рассудив добросовестно, заведующий и вовсе замял бы этот случай, принимая во внимание заслуги Клочкова, как спеца. Но на беду в канцелярии, как раз в это же самое время, находилось одно постороннее лицо.

И лицо это сделало такую недвусмысленную гримасу, так значительно подмигнуло и таким голосом промямлило — «о-го-го», что судьба Клочкова решилась сама собою.

«Вы больше у нас не служите — сказал Аким Иванович, слегка дребезжавшим голосом. Потрудитесь сдать все дела товарищу Кошкину».

Клочков был уволен. И тотчас же четыре барышни ревностно застучали на машинках какой-то сногшибательный губ-продкомский кэк-уок. А Клочков, не говоря ни слова, повернулся и вышел на улицу.

«Все равно — подумал он. Какнибудь проживу. Толку-то от службы не очень много».

И в самом деле: служил Клочков за паек, за пачку спичек в месяц, дюжину английских булавок и чечевичную похлебку на воде. Жалованье не выдавали месяцами. И вот теперь он ушел с последней коробкой английских булавок в кармане. Правда булавок первого сорта, булавок, так сказать, на подбор.

Дома на квартире хозяйка Агриппина Ивановна ахнула, склонив на бок голову, старчески пожевала губами и вытерла глаза желтеньким платочком с крапинками.

«И что они делают, Ироды, прости Господи! Мало им — человек молодой, сурьезный, не пить, не курить... Так нет! Им арештанты нужны, каторжники... Птьфу!»

В этот день канарейка осталась без зерен. В этот день дочка хозяйки Аннушка, барышня без мала тридцатилетняя и, в отношении ног, как говорят римляне, немного курвус, т. е. кривая, не пела своего излюбленного романса о лунных ночах и соловьиных трелях. Но так как на самом деле лунные ночи были, Клочков долго просидел у открытого окна, глядя во тьму глухого сада.

«Надо продать штаны — думал Клочков. За них наверно кусков восемь отвалят».

Ах, эти штаны! Во-первых, они были с полоской, из настоящего трико и почти совсем неносенные. И, во-вторых, — сколько воспоминаний! В этих штанах защищал диссертацию Клочков, готовясь к профессорской карьере. В этих штанах было все его прошлое... И теперь он решил их продать.

Утром на базаре рябой вислоухий красноармеец торговался, сбивая цену:

«По первому делу штанишки у вас, товарищ, цивильные. Еще неведомо, когда и надеть придется. И окромя того шесть кусков дорого. Так, скажем, четыре лимона, куда ни шло».

«Берите, сказал Клочков. И штаны были проданы.

На Елисаветинской у Соломона Штокера водилась хорошая камса.

«Это же не камса, а как с двух капель вода, королевская сеledка. Такой товар и Троцкому не грех послать».

Соломон Штокер завернул покупку в тонкий лист полного собрания сочинений Чехова. Клочков вышел на улицу и дрожащими руками развернул сверток. В лицо пахнуло острым гниловатым запахом. Выбрал самую небольшую рыбешку, положил ее в рот и, насыщаясь, вспомнил:

«Лидия Семеновна говорила недавно, что камса хороша с касторовым маслом. Совсем сардины получаютя. Чтож... надо зайти к Лидии Семеновне, попросить касторки».

Шел вдоль облупившихся стен, размахивая по привычке руками. Город уже громыхал обычной жизнью. На биржу выехал извозчик — капитан лейб-гвардии Засекин. Графиня Дашкова, раскладывала на лотке пончики. Слепо тарацились на солнце квадраты окон. У дома № 34 остановился, позвонил. Вышла сама Лидия Семеновна, улыбнулась, сжимая губы (вставная челюсть уже три года, как сломана).

«Николай Петрович?»

Брови у Лидии Семеновны сделали попытку подняться вверх. Брови у Лидии Семеновны теперь не могли подниматься. Они поднялись еще в семнадцатом году, когда государь отказался от престола и с тех пор застыли высоко над переносицей у лба. Клочков наклонился, целуя руку. И вдруг насторожился: пахла рука чем то знакомым и волнующим.

«Неужели копченое сало? — подумал Клочков. Да, да... копченое сало. И еще, как будто, грибы...»

Есть господа, тайная прелесть в таких неожиданных запахах. Вот хотя бы укроп... Кажется растение куда какое прозаическое. А стоит потянуть носом и вспомнишь, Бог весть, какие давние времена. Вспомнишь огород, за поповским перелазом,

душный летний вечер с жемчужной подковой Большой Медведицы, хорошенькое личико какой либо малороссиянки — Гарпины или Галины, песню Днепровского соловья и шум родных осокорей. Вспомнишь... да мало ли что еще вспомнишь?

Лидия Семеновна усадила между тем Клочкова на диване в гостиной и пошла звать мужа. Муж Лидии Семеновны, Игорь Леонтьич, сохранился куда лучше своей супруги. Во первых, у него сохранились все привычки, вынесенные из пажеского корпуса в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Во вторых, Игорь Леонтьич...

Впрочем, он уже сам стоял на пороге, величаво кланяясь гостю.

«А? Что? Слыхали? В Батуме, говорят, англичане. Скоро, скоро их, батенька, по шапке, всех этих собачьих депутатов... Эт - тих, извините, мер - рзавцев, которые...»

«Игорь, не нервничай!» — окликнула Лидия Семеновна из соседней комнаты.

Со стены косилось на Клочкова миловидное лицо пастушки — последняя картина в доме Тарарамовых, еще не реквизируванная большевиками. На желтом лугу пастушка пасла овечье стадо. В стороне под деревом сидел пастух, раскуривая трубку. И вдруг Клочков хлопнул себя по колену.

«Вот, чуть не забыл, Игорь Леонтьич! Ведь у меня же есть для вас ценный подарок.»

Игорь Леонтьич ослабился приятной улбкой и, по привычке, галантно поклонился.

«Почти половина — сказал Клочков, протягивая Тарарамову сигарный окурочок. Вчера на Гончарной нашел. Иду, понимаете, смотрю под ноги, и хоть некурящий человек — вижу лежит.. А что думаю, не захватить ли на всякий случай?»

Лицо у Игоря Леонтьича стало совсем приятным.

«Гм, — сказал Игорь Леонтьич, рассматривая окурочок. Да ведь это же итальянка. Настоящая итальянка. Должно быть матрос какой выбросил».

Сощурился Игорь Леонтьич белыми, выцветшими глазами, вспомнил Неаполь тысяча восемьсот девяностого года... Отель «Урания» над морем... Кажется «Урания»... А может быть «Золотой Рог». Тогда еще Лидия Семеновна, боясь беременности, спа-

ла наверху, отдельно... Рядом с комнатой их домашнего друга князя Татлымова... Италия... Неаполь... Как это было давно!»

Долго думал Игорь Леонтьич, посапывая носом и закрыв глаза, так долго, что у Клочкова явилось подозрение, не заснул ли и в прямь хозяин. Вошла Лидия Семеновна и, остановившись за спиной мужа, неожиданно хлопнула руками.

«Это я моль — сказала она Клочкову. Удивительно, как много моли в нынешнем году. Поверьте, не к добру».

Игорь Леонтьич раскрыл глаза.

«А? Что? Да, да, скоро их, батенька, по шапке, по шапке...»

Клочков стал прощаться. Напоследок задержался губами, целуя руку хозяйки.

«Заходите же — говорила Лидия Семеновна уже с порога. А надо будет касторовое масло — не стесняйтесь, еще могу дать».

Клочков поклонился. Над домами уже распластались оранжевые крылья заката. Шел пустырем, заросшим густым бурьяном. Когда то здесь был парк — изредка нога наталкивалась на уцелевшие пни. На площади Екатерина Великая с отбитой головой отбрасывала от себя странную тень, похожую на самовар. Лица прохожих казались медными. Небо сжимало город огненным полукругом. И вдруг Клочков вздрогнул. Увидел на линии алой каймы горизонта черную перекладину креста.

«Галлюцинации... Я брежу» — мелькнула мысль у Клочкова.

Ускорил шаг. Почти побежал вдоль улицы. Крест медленно плыл по черте горизонта. Жуткий трепет охватил Клочкова. И, только добежав до угла, увидел то, что его так испугало. Это был действительно крест, большой дубовый крест, каких тысячи на каждом кладбище. Но двигался крест самым реальным образом. Нес его на плече маленький человек с острой, мочальной бородкой. И человек то был знаком Клочкову — Илья Дмитриевич Бабкин, бывший директор гимназии.

«Илья Дмитрич!» — окликнул Клочков.

Бабкин остановился, неловко поворачиваясь, с крестом. Длинное лошадиное лицо разрезалось внизу улыбкой.

«А - а! Сколько лет! — закивал головой Бабкин. Простите, руки не подаю. Тяжелая штука, знаете. На базарной чуть не свалился даже...»

Идя рядом с Бабкиным, видел Клочков серое его обрюзгшее лицо, длинный нос и лопнувший на лбу козырек когда то форменной фуражки.

«Что на заказ, или по случаю купили?» — спросил Клочков, указывая на крест.

«Это вы, голубчик, что вы! — удивился Бабкин. Кто же теперь такое делает? Наоборот, сейчас каждый норовит чтонибудь домой принести. Ведь вот подумайте — у меня на кладбище только и была теща... Правда, крест большой, массивный. Этим пожалуй, два-три раза плиту натопишь. Плита у нас очень скверная. Тяги нет. Должно быть сажей забита. А вот у Сидорова... Помните Сидорова? Надзиратель у нас был в гимназии Сидоров... У Сидорова целое кладбище родственников».

Бабкин болезненно усмехнулся.

»У него, дорогой мой, и на старообрядческом родственники отыскались! Вы понимаете, конечно, в чем дело? Сидоровых миллионы в России».

В переулке попрощались. Клочков пошел к морю. Небо, будто кто его утыкал серебряными гвоздями, мягко светилось. От слабости кружилась голова и рождался во сне неясный шум, словно приложил ухо к большой океанской раковине. Где то далеко зелеными очами вспыхнули огни семафоров. И вдруг показалось Клочкову, что он один, совершенно один. И вот он бредет, спотыкаясь. Серые дома громоздятся гигантскими кубами, встают на пути. А впереди море — черная ночная бездна. И так заманчиво показалось ему — прийти поскорее домой, раздеться, упасть на постель, отдаться лучшему, что у него осталось — крепкому сну. Будет канарейка сонно чиликать у окна:

«Вет - вет... Чин - чин...

Вет... чин...»

«Вет - чи - на!» — сказал Клочков. И вздрогнул от собственного голоса.

II

Дом Агрипины Ивановны Спициной, как и все дома того времени, являл собой печальное зрелище. Подобно мастеровому, загулявшему в ночном трактире, клонился он куда то на сторону и, казалось, вот-вот упадет, обрушится в маленький сад, закрывший его окна диким виноградом и бузиною. Когда то по заплятанной черепичной крыше целыми стаями бродили воюющие на луну коты. Открывала окно Аннушка, вздыхала, слушала котов, и, разумеется, думала о котах. Но теперь все было тихо. Котов давно переели. И уж какая была жалостливая соседка генеральша Бигаева, а пришли страшные годы, обезумела старуха от голода, с'ела любимую кошку. Позвала дворника Антипа, посмотрела на него подслеповатыми глазами и, всхлипнув, попросила:

«Только вы сразу, голубчик. Так чтоб не мучилась. Я вас очень прошу об этом».

Взвесил Антип на руке кувыркающуюся и шипящую кошку. Прикинул в уме, сказал:

«Вишь ты, какая жирная! Фунта, полагаю, в ей четыре содержится».

И во дворе за мусорной ямой, где когда то в незабвенные времена резали петухов и индеек, выпотрошил Антип генеральскую кошку. Обливаясь слезами, стряпала генеральша жаркое. Сначала пилав хотела приготовить, однако потом раздумала. «Ах, не все ли равно».

Одна уселась за стол в полутемной своей коморке и, обмакнув кусочек хлеба в последние остатки соуса, грустно задумалась.

«Пьеретта — шептала генеральша. Милая Пьеретта». И плакала.

Здесь, кстати, было бы и нам пролить несколько слез о давнем невозвратном времени, о соловьях и о розах, о пышной осетрине в лавке купца Толстопятова, что на углу Торговой и Княжеской, о звонких русских рублях тысяча девятьсот второго и третьего года, о барышнях с губами бантиком, на все отвечавших «неужели»? — о церковном вине и ревельских шпротах. Но кто же плачет в наш жестокий и равнодушный век.

Третий день лежал на диване Ключков у себя в комнате.

Проедал штаны. Слышал сквозь тонкую стену скрипучий голос Агриппины Ивановны. Говорила о политруке Чуйкине.

«Чтой-то не идравится мне, Аннушка, твой политрук. Ох, не идравится. Усе у него при месте, тилигентный человек, сразу видать — очки носить и усы в гору закручены. А вот не идравится мне да и только. Может стать оттого, что крепко ученый».

Вздыхала за стеной Аннушка. Потом слышно было, как перетягивала Агриппина Ивановна наверх гирьку стенных часов. Потом хлопала дверца и железная кукушка, увлекаясь, отсчитывала восемнадцать часов подряд. В это время приходил политрук Чуйкин. Политрук Чуйкин стоит того, чтобы о нем сказать несколько слов особо. Голова у политрука напоминала скрипичную головку — рыжие волосы, как струны закручивались вдоль ушей, а голос был настоящая квинта — высокий и пискливый.

«Нет, Анна Тимофеевна! Вы рассуждаете слишком индифферентно. Теперь каждый гражданин союза советских республик является прежде всего объектом собственной личности».

Говорил Чуйкин как по книге. Качала головой Агриппина Ивановна, шла к себе в кухню, думала по дороге:

«Кажись по русски говорит человек, а вот не понимаю, старая дура, ни словечка».

Слышал и Клочков разглагольствования Чуйкина, натягивал до рта старое свое дырявое одеяло и, переворачиваясь в постели, думал:

«Россия ушла в глубь позабытых времен. Мы теперь в девятом веке. Это неизбежно. И с этим надо примириться».

И вдруг вспомнил — толпы безпризорных на улице. Ввалившиеся глаза просят о помощи. Тянутся к нему худые руки. Хлеба... Один кусочек... Дяденька!.. На секунду показалось Клочкову — там, за окном, в лунном саду, бродят молчаливые тени. Шарят руками, шелестят рубищем, шепчут сухими губами жалостные слова. Приподнялся на постели — взглянул. Это акации. Они в цвету. Уловил их сладкий знакомый запах. И все было настоящее теперешнее. И год был тысяча девятьсот двадцать первый...

Над темным хребтом шоколадной фабрики Эйнем две пер-

вых буквы уцелели от революции. Две больших черных буквы повисли над городом в прозрачном небе.

«Эй! — кричали буквы. Эй!»

«Да отворите же черт побери, если вы дома! Эй, Николай Петрович! Отворите!»

Клочков вздрогнул и открыл глаза. Кто то стучал в дверь обеими руками. По голосу узнал Клочков — Хромин, Валерий Семеныч, приятель его, доцент. Наскоро набросил на себя одеяло и, споткнувшись в темноте, пошел открывать дверь. Хромин вошел, почти вбежал в комнату, суетливыми семенящими шагами.

«Спите? — сказал он. В такой вечер? Стыдитесь! Природа, можно сказать, опьяняет, а он что выдумал. Этак вы, дружище, и ужин проспите».

Маленькие глазки Хромина озабоченно оглядели комнату.

«Увидит еду» — подумал Клочков и сел так, чтоб заслонить собой тарелку.

«Ишь что выдумал... спать — повторил еще раз Хромин и заглянул поверх головы Клочкова. Ба! Да у вас камса! — воскликнул он. Похвально. Я, например, со вчерашнего дня ничего не ел. Правда, обещали по карточке к среде непременно».

«Гнилая — сказал Клочков с кислой гримасой. Совсем гнилая рыбешка».

Хромин уже жевал, вернее глотал, не разжевывая с ловкостью морской чайки.

«Сначала головку надо долой... вот так — говорил он скороговоркой. Жаль только, что хлеба не достает... Теперь хвостик...»

Клочкова начинала разбирать злость.

«Вчера я просмотрел вашу работу, Валерий Семеныч — сказал Клочков. Спешка у вас большая, вы уж меня простите за откровенность. Вопрос о субстанции, как вы его трактуете согласно Фрезеру и Вундту...»

Хромин почти всхлипнул и даже не успел проглотить последнюю рыбу, так что хвост ее торчал у него изо рта. Лицо его выразило крайнее изумление.

«Работу? — спросил он. Мою работу? Это вы об университете?»

И вдруг расхохотался.

«Ох-хо! — смеялся Хромин. Вот изрек! Нет, вы Николай Петрович шутник... Ей Богу, шутник. Какой сейчас университет по нынешнему времени? Да будь они трижды прокляты Вундты и Фрезеры! К черту субстанцию! Ведь пухнем от голода. Поймите вы — идеалист неисправимый. Субстанция!... Шутник, ей Богу!»

Наконец, нахохотавшись вволю, Хромин достал из кармана нечто напоминавшее по цвету красноармейскую онучу и, высморкавшись, сказал:

«Я к вам, собственно говоря, по делу. Нам нужен еще один компаньон для карусели. Мы договорились крутить карусель».

Клочков дернул себя за бороду, чтобы удостовериться, что он не спит.

«Крутить карусель? Это каким же образом?»

«Дело пустое — сказал Хромин. Крутим пока мы трое — я, да полковник Страхов, да художник Требуховский. Не тяжело и весьма прибыльно. В праздники по три куска на брата выкручиваем».

«Что за оказия?» — подумал Клочков. Никогда действительность не казалась ему столь необычайной.

«Ну так как же? Согласны?» — спросил Хромин.

Маленькие глазки его пытливо уставились на Клочкова.

«Виджу согласны — сказал он через секунду, отводя взор. Вот и хорошо. Так и запишем».

Клочков нерешительно теребил бороду.

«Погодите... Вы говорите крутить карусель... Но я признаться не совсем представляю...»

«Ах, Боже мой!» воскликнул Хромин. Дело яснее ясного. На площади для красноармейцев поставили карусель. Мы нанялись ее крутить. И вот я предлагаю вам вступить в кампанию... Кстати и Аглаю Петровну увидите. Она сейчас в балагане русалку изображает».

«Аглая Петровна? Русалку?» — воскликнул Клочков.

«Ну да, русалку разыгрывает — спокойно ответил Хромин. Холодно ей бедняжке сидеть в воде, чуть не плачет. Голая она, понимаете, совсем дезабилье. Хвост начинается только от пояса».

«Но как же муж ее, Пимен Геннадъич?»

Хромин пожал плечами.

«Чтож Пимен Геннадъич. Его уже давно со службы вычистили. Нам, говорят, бывших помещиков не надо».

«Вот оно что — раздумчиво протянул Клочков. А кажется так недавно удили вместе рыбу. Чудесный был у них пруд... Караси водились».

«Да, ничего не поделаешь — равнодушно сказал Хромин. Значит согласны, неправда ли? Завтра в пять часов будем вас ждать у балаганов. Только смотрите не опаздывайте — в пять начинаем крутить».

Хромин нащупал в темноте дверную ручку. В распахнутой двери неясным силуэтом обозначилась его широкоплечая фигура. Клочков остался один.

«Крутить карусель... — подумал Клочков. На площади Маркса...»

Зажал между ладоней заросшее свое давно небритое лицо. Чувство одиночества, затерянности охватило его с новой силой. Казалось ему, что он похоронен заживо в душном подвале среди набросанной в кучу ненужной рухляди. И вот торжественно глядит в окно ночь с запутавшимися в древесных ветвях звездами, сладким дурманом веет от желтых акаций.. А за стеной политрук Чуйкин говорит о любви.

«Любовь, Анна Тимофеевна, выдумки. Кто ее видел эту самую любовь? Потому, как человек произошел от обезьяны, любовь, стало быть, есть влечение половых организмов».

Клочков вскочил со стула. Комната на секунду осветилась голубоватым светом. Выступили за окном, словно вырезанные из картона дома и деревья. Разобранный наполовину народный банк зиял в пространстве обнаженными стропилами.

«Все, все осветить» — подумал Клочков. И словно бы кто подслушал его мысль — с моря протянулся дымной полосой луч голубоватого света. Он устремился к звездам, потом опустился вниз, вычертил на мостовой группу спавших вповалку безпризорных, скользнул влево, осветил у разбитого фонаря севшего по естественной надобности милиционера и остановился, наконец, на вызолоченной надписи:

«Пролетарии всех стран соединяйтесь».

Клочков тяжело вздохнул и отошел от окна.

Ш

Эта глава о петухах. С петушиным криком просыпалась когда то Россия зелеными росными утрами. Еще дымились поля ночной испариной, чуть розовело небо, а петухи уже вышкрабывались на низкие заборы и, вытянув длинные шеи в сторону разгоравшегося востока, вещали грядущую зарю.

«Заря-а! Зарю-у!» — кричали петухи. «О заре-е!» откликались их далекие соседи. Чего они ждали с востока горластые самоуверенные пророки? Не в татарский ли котелок смела их поднявшаяся вихрем стихия? Не батько-ль Махно рубил их петушиные головы для полкового котла в Приднепровьи? А потом пускали петухов в черное небо искрами разгоравшихся пожаров и тешились хмельные солдаты и орали пьяные песни. И пришел год — ели петухов иностранцы, зуавы, греки и англичане и всякий кто был охоч до свежего петушиного мяса. И не стало петухов на юге. Молчаливые занимались зори — печальные без петушиного крика. И все таки...

Клочкова разбудил петух. Протяжный, слегка надтреснутый голос раздался где то по близости и замер в малиновом воздухе.

«Неужто петух?» подумал Клочков, протирая глаза. Даже привстал на постели и вытянул шею. Крик повторился и на этот раз совсем близко. Слышно было, как птица взлетела на возвышение в саду.

«Должно быть это Чуйкин подарил Аннушке петуха — сообразил Клочков. Он ей не раз обещал».

Давнее время вспомнилось как мираж... Петухов жарили на сливочном масле. Клади в печь длинные жаровни и вынимали, когда мясо покрывалось сверху розовой коркой. Иногда петухов начиняли яблоками или рисом... Клочков облизал языком сухие губы. Внезапно увидел на столе продолговатое блюдо. Тонкий запах щекотал ноздри, рос и ширился. Но когда поднялся с постели — блюдо растаяло в воздухе и все вокруг закружилось, запрыгало в нелепом танце. Высившиеся за окном дома побежали спотыкающейся вереницей.

«Плохо дело» — подумал Клочков, хватаясь за спинку кровати. Вся комната шаталась, подобно корабельной каюте.

«Плохо дело» — повторил он уже вслух, и поразился слабости собственного голоса. Тускло блестел комод полированным закругленным краем; желтый китаец со старой чайницы улыбался слащаво и равнодушно. В просыпающейся улице за окном хлопала по асфальту деревянные сандалии пешеходов. И вдруг стало страшно Клочкову в этой комнате, где все притаилось вокруг и молчало. Даже мышь, постоянная утренняя гостья не скреблась под кушеткой: должно быть и она умерла. Уйти?... Бежать?... Но ведь и бежать то некуда. Повсюду встречала его та же мертвая обстановка. Когда то в детстве, купаясь, он нырнул под плоты и долго потом шарил руками, стараясь выбраться на поверхность. Теперь он испытывал такое же чувство безнадежного отчаянья и страха. Чтоб отогнать неприятные мысли стал думать о предстоящей ему сегодня работе. Сегодня он будет крутить карусель на площади Маркса. Должно быть не легко крутить карусель... В особенности на тощий желудок.

Раздумывая, одевался.

«Надо достать хлеба — думал Клочков. Хотя бы краюху. Где бы ее однако достать? И вдруг вспомнил: у Филиппа, университетского сторожа. Старик теперь жил в достатке — ему помогали родственники, привозя из деревни продукты. Кстати, Филипп давно приглашал его зайти какнибудь покалякать».

Кирпичное лицо сторожа вычертилось в углу комнаты неясным силуэтом.

«Пойду к Филиппу! — решил, наконец, Клочков. Оттуда и карусель рукой достать, да и перекусить чтонибудь удастся».

Торопливо повязав вокруг шеи лоскут материи, заменявший ему галстук и, надвинув до бровей старую соломенную шляпу, вышел на улицу. На секунду ослепило солнце. Дома, троттуары, деревья окрасились фиолетовой краской. Пахнуло в лицо акацией. У районного парткома на Октябрьской увидел редкую толпу. «Митинг» — подумал Клочков и хотел повернуть направо. Чья то рука потянула его за рукав пиджака и голос странно знакомый окликнул по имени.

«Не узнаете? Николай Петрович!»

Клочков оглянулся. Перед ним стояла маленькая робко улыбающаяся женщина в наброшенном на плечи вылинявшем зеленоватом платке. Лицо ее, еще не старое и миловидное, поражало

худобой и желтизной. Рваная кофта придавала ей убогий вид и только глаза, глубоко сидящие в орбитах, сияли молодо и задорно.

«Не узнаете?» — повторила еще раз женщина.

«Должен признаться нет» — сказал Клочков.

И вдруг отступил назад, пораженный смутным воспоминанием.

«Нина Сергеевна!» — воскликнул Клочков, узнав, наконец, в стоявшей перед ним женщине давнюю свою знакомую.

«Да, вот видите — сказала Нина Сергеевна, грустно улыбаясь. Меня теперь никто не узнает. Очень уж я изменилась за эти годы».

«Нет, почему же... смущенно пробормотал Клочков. Наоборот...»

Нина Сергеевна недоверчиво покачала головой.

«Не говорите. Ведь я же знаю как подурнела».

Она придвинулась ближе к Клочкову и, испуганно озираясь по сторонам, зашептала:

«Мужа три раза водили в чрезвычайку. Можно себе представить, что мы пережили. А все из за фамилии. У вас, говорят, фамилия старорежимная — Королек. Но чем же мы виноваты? Сами видите, какой я Королек. Скоро совсем буду ходить босая».

Клочков сочувственно покачал головой.

«А помните Розалию Михайловну? — спросила вдруг Нина Сергеевна и в глазах у нее зажглись шаловливые искры. Ну конечно же помните. Пышная такая брюнетка. Кажется она вам когда то нравилась».

«Как же, как же — припомнил Клочков. Что с ней?»

Нина Сергеевна злорадно усмехнулась.

«Посмотрели бы вы теперь на вашу Розалию Михайловну. Тигр, настоящий тигр. Вся голова полосатая. Честное слово!»

«То есть, как это?» — удивился Клочков.

«Ах вы, мужчины!» — воскликнула Нина Сергеевна. Ничего вы не замечаете. Ведь волосы были у нее крашенные. А теперь краска облезла, и новой достать нельзя. Вот она и ходит полосатая».

Нина Сергеевна весело расхохоталась. Но сейчас же лицо ее приняло озабоченное выражение и глаза потускнели.

«Надо идти — сказала она и протянула Клочкову руку. Меня ждет муж за городом. Мы теперь собираем в поле колосья, разрываем мышинные норы. Вчера нам повезло — фунта четыре набрали».

Она улыбнулась жалобно и робко и, попрощавшись, исчезла за поворотом. Клочков стоял на углу улицы, машинально читая объявления.

«ОРКАИ... СОЦОБЕС... УЧПРОФСОЖ... ГУБПРОДКОМ. »

Красные, синие буквы прыгали нестройными рядами. С тоской искал глазами что либо давнее, знакомое, какой либо обрывок прежней жизни. Но повсюду, куда обращал взор, встречала его та же чужая обстановка. Из-за угла вынырнула группа безпризорных и остановилась вблизи на троттуаре.

«Дашь хлеба?» — сказал передний хриплым голосом.

Какое то существо, похожее на обезьяну с жалобным воплем метнулось в сторону.

«Хлеба, говорю, дашь?» — настойчиво повторил передний и грезно нахмурил брови.

Клочков увидел девочку лет семи с зажатым в руке ломтем черного хлеба. Она стояла у стены, прижимая к груди свою добычу, всхлипывала и скалила зубы на обступившую ее толпу оборвышей.

«Ух ты паскуда! — злобно прохрипел передний. Я т-тебе покажу!»

Грязная рука схватила девочку за волосы.

«Что вы делаете? — воскликнул Клочков. Боже мой!»

Кто то повторил — «Бо-о-же мой!»

Из толпы выскочил рыжий вертлявый мальчишка и, прыгая на одной ноге, запел:

«Боже ж мой, Боже мой,
Батько мой кожаный.
Брат оловянай,
Я сам деревянай!»

В толпе засмеялись. Клочков отшатнулся от них и, ускоряя шаги, пошел вдоль троттуара. Шел, опустив вниз голову, стараясь ни о чем не думать, сворачивая машинально в нужные ему улицы. И, только подойдя к университетской клинике, огля-

делся вокруг. Здесь было тихо и пустынно. Сквозь прутья чугунной ограды, окружавшей серое здание университета, синели цветы — первые весенние колокольцы. На ярко зеленой клумбе высеченный из камня фавн трубил в рожок, запрокинув голову в небо. Острой болью сжалось у Клочкова сердце... Университет, знакомая ограда... эта дорожка, усыпанная щебнем... Перед ним развернулся уголок отзвучавшей жизни. Незаметно подошел к сторожке и постучал в окно. Филипп был дома. Он встретил гостя таинственным шопотом:

«Што я вам скажу! — зашипел старик на ухо Клочкову. Чар об'явился! Чар Николай! Брешуть большаки, што убитай. У турков он в плену — вот где!»

Коричневое лицо сторожа хитро усмехнулось.

«Это мне кум говорил. Он у них у куманистов начальником».

Клочков стоял, озираясь, в маленькой каморке. Здесь все было по прежнему, те же олеографии из старых журналов висели по стенам — портрет Айседоры Дункан, землетрясение в Мессине, Дрейфус и охота на моржей. В углу над столом Георгий Победоносец разил копьём засиженного мухами змия... Все, все как прежде. Как в те года...

«Чичас мы чайку жаварим — суетился Филипп. Шахар мне из деревни прислали. Кхе, кхе...»

«Как в те года» — думал Клочков. И покосился на сторожа.

«Странное, однако, лицо у Филиппа. Словно вырезанное из дерева. И у Дрейфуса тоже... Да».

Провел по волосам рукою. Внутри, где то в мозгу, ощутил тупую боль.

«И вообще странно — думал Клочков, сдвигая брови. Недаром и этот мальчишка пел сегодня на улице — я сам... как это... я сам...»

Силился вспомнить. Мысли возникали и путались; что то давило на череп изнутри тугой пружиной.

«А немцы, слышать, корापь летательный засылают — говорил Филипп, расставляя на столе чашки. Хотят жначит газами передушить усю камуну».

«Корабль? — спросил Клочков. Из дерева?»

«А кто его знает из чего этой самый корाप. Только передушать газами куманистов беспременно».

И вдруг Клочков понял, что надвигается несчастье. Яркая мысль озарила его как молния. Она пришла внезапно ослепительным откровением. В каждом предмете видел теперь грозный намек. Каждая мелочь вдруг получила особый смысл и даже голос Филиппа, шамкающий над ухом заставлял вздрагивать и озираться. Бурное отчаяние подымалось в душе Клочкова.

«В чем же спасение — думал он. И вспомнил: карусель! Это единственная надежда. Стоит только закрутить карусель, напрягая все силы. Он это сделает сегодня же на площади Маркса».

Даже слезы выступили на глазах у него, когда представил себе важность предстоящей работы. Каким то чудом открылось ему бедному неизвестному доценту грозящее вселенной бедствие. Судьба назначила его совершить величайший подвиг. И он свершит. Он будет спасителем мира...

Окуда то сверху зазвучали знакомые голоса; можно было даже распознать голос политрука Чуйкина. Клочков насторожился. Неужели его подслушивают? Значит они давно сидят там наверху и слушают каждую его мысль, чтоб помешать исполнению плана. Или же они ждут того момента, когда и его голова начнет деревянеть и тогда они распилят ее острой пилой и прочтут все как по книге? Только не удастся им это. Он будет хитрее...

Сделал несколько шагов по направлению к двери.

«Куда же вы? — прошамкал опешивший сторож. Потому, ежели сахар, так у мене есть полхфунта. Мине из деревни пришляли».

Но Клочков уже отворил дверь и теперь уже шагал по направлению к балаганам.

«Надо спешить, надо спешить» — бормотал он, пересекая улицу. Шляпа сползла ему на глаза, и он не замечал этого, погруженный в тревожные думы.

IV

Балаганы стояли на площади в пыльном предместьи. Еще издали можно было приметить неуклюжий конус затянутый полотнами карусели. После войн и революций Россию потянуло к веселью, к спокойной жизни, к Непу, к лакеям и балаганам. Опять как в давнее время у деревянных барачков толпились любопытные солдаты. Здесь за недорогую плату можно было увидеть и зуб допотопного слона, и шляпу Наполеона, и трубку Тараса Бульбы, и женщину о четырех грудях. Опять, как встарь сеньор Мацони, великий артист и маг, возвещал в рупор галло-программу мирового аттракциона и обсыпанные мукой клоуны захлебывались скрипучим смехом. И гудела где то шарманка и старый знакомый желтолидовый попугай лениво вытаскивал из корзины свернутое трубочкой поблекшее счастье.

«Айя-я-я! — кричал сеньор Мацони. Пожалте товарищи граждане! Грандиозная панорама! От наших дней до Адама! Все как по прейскуранту! Буденый колотит Антанту! Трагедия царского дома! Выкладывай деньги Ерема! Айя-я-я!»...

На сеньоре Мацони был черный фрак, сшитый из крашеного мешка и белая картонная манишка, продранная во многих местах и тщательно замазанная мелом. Длинное худое пергаментное лицо улыбалось профессиональной улыбкой. И когда он снимал с головы блестящий цилиндр — видна была не менее блестящая лысина, окаймленная по краям седеющими волосами. Сеньора Мацони нельзя было упрекнуть в отсутствии энергии. Он кричал уже не своим, а каким то чужим охрипшим голосом и останавливался только на секунду, чтоб вытереть рукавом фрака обильно стувшийся пот.

Клочков подошел к карусели в тот момент, когда с нее уже стягивали полотна. В лучах вечернего солнца деревянные кони казались покрытыми сусальной позолотой. Ослепительно сверкали на алой ткани карусельного стержня бисерные блестки и украшения. Среди возившихся у полотен людей не сразу отыскал Хромина. Солнце слепило глаза и мешало что, либо разглядеть. Только подойдя вплотную к карусели Клочков увидел своего друга.

«Вправо, вправо тяните! — кричал Хромин суетившимся рядом фигуркам. Да куда же вы, товарищ? Сюда, вот так, вот так. Теперь закрепите канат. Готово!»

Хромин прыгнул вниз на землю и оглянувшись, увидел Клочкова.

«Ага, я вы дружище! — сказал он, идя навстречу. Вот и отлично. Теперь работа пойдет веселей. Пойдемте, я вас представлю своим компаньенам».

Он взял Клочкова об руку и, поднявшись с ним по узенькой лестнице, открыл дверь, ведущую внутрь карусели. В густом полумраке неясно вычерчивались сбитые перекладиной бревна. Оранжевыми полосами пробивалось сквозь щели солнце.

«Обратите внимание на Требуховского — шепнул Хромин, проталкивая Клочкова вперед. Гениальная личность, скажу вам по секрету. Творец! Художник! Завтра я покажу вам одно из его произведений. Собственно говоря, живую лошадь. Изумительная работа!»

Клочков вздрогнул.

«Живую лошадь? Кто сделал живую лошадь?» — спросил он испуганно озираясь.

Вокруг безжизненным табуном вздымались деревянные кони.

«Да он же, Требуховский — сказал Хромин. При помощи старой кобылы... Под зебру ее раскрасил».

Хромин передернул плечами и со вздохом добавил:

«Публика теперь капризная. Ей покажи зверей. А где достанешь зверей в нынешнее время? Только тем и пробавляемся, что сами готовим».

Наконец за пыльной занавеской открылась узкая четырехугольная коморка.

«Товарищи! — воскликнул Хромин, переступая порог. Позвольте вам представить нашего нового компаньона».

Два силуэта лениво повернули головы. Клочков снял шляпу и вдруг застыл в неподвижной позе. Ветер прошел у него по волосам и в глазах зарябило. Прямо перед собой увидел странную голову похожую на лошадиную морду. Но не вид головы смутил так сильно Клочкова. Его поразили уши. Длинные, немного вогнутые внутрь они блестели тусклым светом и были

вне всякого сомнения из дерева. Деревянные уши! Усилием воли подавил Клочков готовый было вырваться из груди крик. Бедствие началось раньше, чем он мог предвидеть. Это были первые признаки катастрофы, готовой разразиться над миром.

«Знакомьтесь» — сказал Хромин, выпуская руку Клочкова и отходя в сторону.

«Требуховский».

Клочков стоял не силах вымолвить слова. Мысли одна за другой вихрились в сознании. Не мог оторвать взгляда от страшных ушей. Словно замороженный глядел на них расширенными зрачками.

«Ишь как растерялся бедняга! — усмехнулся Хромин. Полно, полно, дорогой. Здесь вам не субстанция и не философский факультет. Повертите карусель — вся философия из головы выскочит... Не правда ли товарищ полковник?»

Хромин обратился к круглому человечку, сидевшему на перевернутом ящике. Человечек визгливо хихикнул. Клочков боком взглянул на него и попятился к стенке.

«Лысина — подумал Клочков. Ведь и она...»

Круглое одутловатое лицо с крошечным носом, похожим на прыщик, дружелюбно скривилось в улыбку.

«Да-с, знаете, крутить карусель это того-с... Занятие требующее больших усилий».

«Дерево?» — спросил Клочков, указывая рукой на лысину.

«Что-с?» удивился полковник.

«Дерево» — повторил Клочков с твердой убедительностью в голосе.

И с ужасом подумал: «а что если деревянные мозги?»

«Это-с вы насчет карусели? — сообразил, наконец, полковник. Деревянная, конечно, деревянная. Мы курить здесь боимся. Когда надо выходим на воздух. Сеньор Мацони на этот счет ужасно строгий».

Полковник вперевалку подошел сбоку и, взяв Клочкова за отворот тужурки, доверчиво заглянул в глаза.

«Ничего-с... Привыкнете — сказал он. Спервоначалу, конечно, трудновато. Что же касается строгости... мне как военному даже приятно, что дисциплина. И потом такому, как сеньор Мацони, повиноваться приятно-с. Подумайте, чем был когда

то. Шутка ли! Свой зверинец! Семь обещан одних было... даже горилла имелась... А что теперь?»

Полковник развел руками.

«Вот мы карусель крутим, да в балагане еще два калмыка работают в качестве японцев. Вот и все. Да-с.»

Клочков уже не слушал полковника, всецело отдавшись собственным мыслям.

«Закрутить, напрягая все силы — думал Клочков. Так закрутить, чтоб полетели на землю деревянные верхушки. Пожалуйста лучше, что процесс начался сверху. Только надо скорей... Пока не одеревянела середина.»

Снаружи нарастал рев, похожий на шум морского прибоя. Хромин отдернул рукой занавеску и, поглядев секунду, сказал:

«Пора товарищи. Становись по местам.»

Клочков первый подошел к перекладине и навалился на нее всем телом. Полковник стал впереди, а по бокам Хромин и Требуховский. Задребезжал резкий звонок.

«Начинай товарищи! — кричал Хромин. Гоп-ля!»

Клочков почувствовал, как перекладина стала уходить от него вперед. Невольно сделал шаг, потом еще два и, наконец, пошел вслед за полковником, наступая ему на ноги. С переливами заиграла шарманка «Яблочко»; кто то ударил в бубен, и по черте горизонта поплыли деревянные кони. Карусель закружилась грохочущим диском. Свистнул, заложив в рот пальцы, красноармеец в остроконечной шапке; вычертилось в пролете между полотнами круглое его рябое лицо; красным огнем расцвел платок смеющейся девки. Шарманка гудела — уу-ы-ы, уу-ы-ы! Пыль поднялась от земли и стала над каруселью коричневым облаком. Воздух дрожал от свиста, гиканья и грохота бубна.

«Наддай, наддай!» — кричал, оборачиваясь Хромин. Лицо его почернело. Бум, бум! — грохотал бубен. Бум, бум!...

Кони и люди уже неслись мимо с головокружительной быстротой. Шелестящим звоном дрожали карусельные побрякушки. Казалось, что вихрь неудержимый и буйный вдруг подхватил с земли всю эту массу людей и теперь кружил ее с сатанинской силой.

«Наддай! — хрипел яростно Хромин. Веселей!».

Клочков уже бежал вдоль по кругу, едва касаясь перекладины, почти не поспевая за ее непрерывным бегом. Видел попеременно мелькающие в пролетах лица красноармейцев, оскаленные в диком экстазе, крыши далеких домов, кладбищенскую ограду с несущимися по воздуху ангелами. Вечернее небо струилось огненной кровью, захлестывало на западе подымавшиеся издали облака. Иногда красноармеец со шприцем на голове казался колокольной, сорвавшейся с места и теперь несущейся вдаль по кругу. И прямо на зарю, в алый огонь прыгали, раскачиваясь, деревянные кони. Требуховский тяжело сопел и чихал от забившейся в нос пыли. Полковник на бегу вытирал рукавом вспотевший лоб и жалостно смотрел на Хромина. Но Клочков не чувствовал усталости — неведомая сила влекла его и подгоняла вперед. Близкое спасение видел Клочков в безумном кружении карусели. Ждал каждую секунду — вот сейчас обрушатся все деревянные верхушки и старый спокойный мир блеснет из под обломков забытой синевой. Старый мир... Давнее блаженство. Библиотека с научными книгами... Тихие часы раздумий... Торговля с Византией и XII веке... Фридрих Великий и Ренесанс... Ужин за пять рублей... И вдруг, как вырез из памяти — усадьба... тополя...

Бум, бум!...

Тополя....

Бум, бум!...

Ужин за пять рублей... на первое борщ со свиной... потом жаренная телятина, или петух... потом желе...

Бум! Бум!

Шумят тополя. Ласточки на телеграфных проводах. Визитка из старинного журнала... Кто это залил небо кровью? Пожар? Горит душа? Горит душа. Сверху и снизу...

Уу-уу! Уу-уу!

Залейте душу одеколоном! Залейте пока не поздно.

Бум! Бум!

Пока не поздно остановите! Остановитесь!...

«Остановитесь! — кричал, обернувшись, Хромин. Что у нас руки казенные вертеть карусель целый час! Стоп, товарищи! Довольно!»

Клочков нажимал перекладину в каком то диком экстазе.

Видел, как розовеет лысина полковника Страхова и знал, что это результат упорной работы.

«Ведь была деревянная — думал Клочков. Совсем деревянная. А теперь уже лысина, как у всех... Самая настоящая лысина».

И вдруг ошеломила тишина.

«Садитесь, отдыхайте — тормошил Хромин Клочкова. Экая вы шляпа, ей Богу!»

Клочков опустился на ящик, стоявший у стенки. Возбуждение сменилось внезапной усталостью. Тускло уставился глазами на Требуховского. Художник достал из кармана сухую тарань и с жадностью вонзил в нее желтые зубы.

«М-м-м. — мычал Требуховский. И не прокусишь ее проклятую. Как дерево, черт бы ее побрал!.. Впрочем не угодно ли?»

Клочков протянул руку. Машинально откусил кусок сушеной рыбы. Во рту остался вкус дерева. Но теперь это не поразило — все было деревянное. Все вокруг было деревянное.

«Слыхали? Пупков арестован» — сказал полковник, усаживаясь на перекладине.

«Знаю — протянул Требуховский, обсасывая тарань. И по делом ему, пускай не ворует. Маслица захотелось?»

Требуховский хрипло риссмеялся.

«Маслице хоть и деревянное, а все же для декораций ему отпущено, а не для кухни. К тому же дурак — не умел таить, Бывало, кто не зайдет — сейчас же хвастает... У нас, говорит, все на деревянном масле. И картошку жарим на деревянном масле и кашу готовим... Ну и попался. Донесли».

Клочков на секунду вышел из оцепенения.

«Жидкость не может быть деревянной — сказал он, взглянув на художника. Деревянеют только твердые предметы».

Требуховский сердито крикнул.

«Товарищ не лгу и лжецом отроду не был. Весь город знает, сколько у Пупкова спрятано деревянного масла».

Резкий звонок, раздавшийся сбоку, заставил Требуховского умолкнуть.

«Поехали дальше товарищи! — крикнул Хромин. Живей!».

Шарманка визгливо заиграла марш. Прилаживаясь к ней загрохотал бубен. Снова поплыли в догорающем небе силуэты

коней и всадников. Клочков устало брел по кругу, спотыкаясь на каждом шагу.

«А что если вправду и жидкость деревянеет?»

Эта мысль сверлила ему мозг и приводила в уныние. Тогда все его усилия напрасны. Мир оцепенеет, застынет деревянной пустыней. Будет только ветер свистеть в голом пространстве, завывать — уу-ыы, уу-ыы! А солнце, как бочка повиснет в небе. Пустая бочка... В пустую бочку — бум, бум! В бочку — бум, бум! Уу-ыы! Уу-ыы! Бум, бум!

Время разомкнулось теперь для Клочкова одной непрерывной линией. Оно звенело вокруг отсчитывая деревянные минуты и докатилось до пропасти в ночь, в пустоту. В ночь... Было темно на самом деле.

Хромин, улыбаясь, хлопнул Клочкова по спине ладонью.

«Ну-с, вот и конец — сказал он. Сегодня отработали. Теперь надо подумать о ночлеге».

Клочков очнулся.

«Спать, спать... бормотал он. Надо соснуть».

Требуховский уже прилаживал в углу опрокинутый ящик и, наконец, устроившись на нем кое как, подогнул ноги и захрапел. Сквозь дыры в полотнах увидел Клочков звездное небо зеленовато черное чуть тронутое внизу над кладбищем сиянием встающей луны. Упорно слипались глаза. Подкашивались ноги. От звезд протянулись к самому носу длинные серебряные нити. Сон связывал медленно и верно.

«Засну... и не увижу» — подумал Клочков, укладываясь в углу и подстилая под голову тужурку. Пахнуло прохладой. И последняя память — сверчки. Где то на кладбище неустанной трелью — чир, чир, чир, чир... и погасло.

V

Глухой ночью проснулся Клочков и с ужасом приподнял голову. Стучало. Как на ремингтоне — тук, тук, тук, тук... Это стучало сердце. Его сердце. И оно было деревянное...

Обеими руками схватился за грудь — стук шел изнутри. Безжизненный, мертвый, как работа машины, он леденил кровь. Спазма захватила горло. Шатаясь, выбежал за полотна наружу.

Первое, что увидел — вместо луны в побледневшем небе тусклый деревянный круг.

«Вот когда настоящее бедствие» — подумал Клочков. Потянул носом. Пахло деревянной гарью. Стоявшие на площади балаганы уже обуглились и почернели. Длинные тени пролились от них на землю густыми чернилами. Земля чуть дымилась розоватым дымом. Клочков стоял неподвижно, охваченный нервной дрожью.

«Гибла вселенная. Весь прекрасный и совершенный мир. На его глазах гибла вселенная!»

И вдруг ясная мысль шевельнулась в голове Клочкова: «ведь деревянная поверхность... Бедствие развивается постепенно. Быть может, если ему удастся выяснить сущность процесса — найдет-ся и новый способ спасения мира. И это надо выяснить немедленно... Пока не застыли мозги».

Клочков приподнял серый брезент карусели и, осторожно ступая, прошел во внутрь Разметавшись на земле, храпел полковник Страхов. Круглое его лицо чуть улыбалось во сне и губы сами собой бормотали несвязные слова.

«Почему? — говорил полковник. Как так без доклада?... Пальба шеренгой!... Чубарики чуб-чики, чуб-чики...»

Сосредоточенно глядел Клочков на лысину полковника Страхова. Она поблескивала в темноте и была бесспорно деревянной.

«Но что же внутри, под лысиной? — подумал Клочков. Неужели мозги? Это надо узнать. Сейчас же узнать». Вспомнил, что там у лесенки сегодня лежал топор. Крадучись, чтоб не разбудить спящих, Клочков прошел мимо деревянных коней, несколько минут шарил руками в темном углу и, наконец, отыскав топор, так же тихо возвратился назад.

«Позвольте ручку — бормотал во сне полковник. Мадам... вы совершенство».

«Только б не промахнуться — думал Клочков, подымая топор. Надо как раз по середине... в лысину».

И он ударил наотмашь прямо в блестящий круг — в деревянное темя.

«Уф-ф!» — вздохнул полковник.

Все тело его слегка приподнялось и вздрогнуло. Руки по-

ножли в стороны, как раскрывающиеся ножницы. Топор глубоко вошел в деревянную подстилку карусели и еще звенел, раскачиваясь, упругим звоном.

«Кто здесь?» — воскликнул пробудившийся от удара Хромин.

Клочков затаил дыхание.

«Ч-чертовы крысы! — выругался Хромин. Не дают спать».

Несколько минут выжидал Клочков, пока не водворилась тишина. Сгорая от любопытства, осторожно протянул руку к разрубленной голове полковника. Рука нащупала мякоть... теплую мякоть, немного клейкую и сырую...

Клочков беззвучно смеялся.

«У полковника Страхова были мозги. Самые настоящие мозги.. Теперь за работу — решил Клочков, подымаясь с земли. Надо закрутить карусель. Надо сдвинуть с места во что бы то ни стало. Только хватит ли у него сил?»

Почувствовал прилив необычайной энергии. Выдернул из расщепы топор и, сжимая его рукой, шагнул вглубь карусели. И вдруг заржали все карусельные кони и повернули головы. Дыбом поднялись у Клочкова волосы. Кони неслись на него, оскалив зубы, и вот сейчас, вот сейчас растопчут его деревянные копыта, сотрут в порошок, уничтожат. Рубнул топором ближайшую к нему морду. Щепки со звоном посыпались на пол. Другая оскалилась рядом, слепо поводя деревянными очами, Целый лес лошадиных морд обступил его со всех сторон. Клочков рубил направо и налево. Слышал только деревянное ржанье и звон топора, видел, как уши, гривы, глаза сыпались вниз, устилая пол карусели.

«Вяжите его, вяжите!» — кричал испуганно Хромин. Художник Требуховский со стоном прижался к стенке.

«Еще лошадиная морда» — подумал Клочков и, взмахнув топором шагнул к Требуховскому.

«И-ги-ги-ги! жалобно заржал художник. И-ги-ги-го-го!»

«Сзади его товарищи! Хватай сзади!»

Хромин заскочил сбоку и неистово махал руками. Кто то отдернул полог — робкая утренняя заря медной полоской блеснула снаружи. Высокая фигура в красноармейской форме проплыла по заре и остановилась вблизи вычерчиваясь остроко-

чной шапкой. Клочков повернул голову. Деревянно взглянули на него глаза. Вырубленный подбородок почти коснулся лица. Деревянная рука холодной тяжестью легла на плечо.

«Все кончено» — подумал Клочков. И отбросил топор вглубь карусели.

Василий Федоров

КРИСТИК

Бретонская легенда

У берега моря стояла деревня. В деревне жила девушка. Ее звали Анна. Она много молилась и было у нее чистое сердце. Каждый вечер к ней приходил ангел и благословлял ее ко сну.

Однажды Анна проходила мимо церкви — и видит: стоит беспутная женщина с детьми — трое около нее, а четвертому скоро придет время родиться. Анна подала ей милостыню, а сама подумала:

«Разве найдется у Бога для такой прощение?»

Анна пришла домой, улеглась спать, уж задула свечу — сейчас ангел придет, как всегда, ее на сон благословить. Но ангел не пришел. И на следующий вечер ангел не пришел и Анна долго не могла заснуть, не понимает, почему ангел оставил ее? На третий вечер пришел ангел: крылья опущены, глаза заплаканы. Ангел сказал Анне:

«Я больше не могу к тебе ходить: ты в Божьем милосердии усомнилась. и за это тебе наказание: завтра рано утром стань у перекрестка, и всем прохожим говори: возьмите меня к себе жить!»

Анна заплакала:

«Как же я пойду так срамиться перед людьми? Пусть я лучше умру!»

Но ангел сказал:

«Нет — такое тебе положено наказание».

И ангел исчез. Анна всю ночь проплакала, а рано утром пошла и стала у перекрестка, как велел ангел. Проходят по дороге парни — и каждому Анна говорит:

«Возьми меня к себе жить!»

Все от нее отворачиваются — никогда еще такого сраму не видали. А старики ее стыдят и укоряют, и очень всем странно: вчера такая мудрая, а сегодня весь свой стыд потеряла. К полудню идет по дороге пьяница — Жан, на весь округ известный: от кабака до кабака неделю шатается, а в воскресенье весь день спит, чтобы протрезвиться. Анна и ему говорит:

«Возьми меня к себе жить!»

Жан на нее рукой махнул: хоть и пьяница, а такого сраму никогда не видал. Прошел он немного, остановился и думает:

«Ко всем богатым я сватался — никто за меня не идет. Так возьму я себе Анну коли сама напрашивается».

Жан вернулся, где стояла Анна:

«Так и быть! Хоть ты и бесстыдная — возьму тебя в жены».

В церкви повенчал их священник, и зажили они вместе безрадостно. Жан пуще прежнего пить стал; Анна плакала — а Жан ее колотит, велит всю черную работу делать.

Прошел год и настало Анне время родить. Родился у нее сын — и она посылает Жана к богатой барыне, звать в крестные.

«А если барыня сама не захочет, пусть хоть свою прачку пошлет!»

Жан в тот день сильно подвыпил — и крестины ему бабьей дурью показались:

«Выдумала еще крестить! Пусть так растет — без креста!»

Анна его и так и на коленях умоляла и, наконец, пошел Жан к богатой барыне. Барыня выслушала Жана и обиделась; ушла к себе, а Жану велела сказать:

«Не хочу я крестить щенят у пьяницы да у шлюхи!»

И послала свою прачку.

Крестную мать нашли, а крестного нет. В это время проходил по дороге нищий — длинная белая борода, и видит: несут дитя крестить — крестного нет.

«Я ему крестным отцом буду», — говорит нищий.

Анна плачет — ей-бы, чтобы какой-нибудь знатный крестным был — да такая уж ее горькая доля!

Окрестили сына и дали ему имя — Крестик: такое имя нищий придумал. Кончились крестины и Жан говорит нищему:

«Нечего больше в церкви делать — идем в кабак!»

Нищий ему отвечает — прямо в глаза смотрит:

«Не ходи в кабак, а иди к себе домой, открой шкаф — и что захочешь, все в нем найдешь. А жену свою Анну не бей и на черную работу не нуди — а будь с ней ласков и люби ее».

Жан побежал домой, открыл шкаф — а в шкапу стоят тарелки: — птицы жаренные, яблоки, вино, пиво — и много еще всякого с'едобного.

Жан говорит Анне — ласково, как нищий велел:

«Иди обедать: тебя гусь с яблоками ждет!»

Анна не хотела верить — но видит: стол накрыт и Жан не пьяный, а ласковый и глаза у него добрые и светлые. И зажили они с того дня по новому: друг другу на радость, всей деревне на удивление — и на сына, на Крестика, не налюбуются.



Когда Кристик вырос, пришло ему время итти в школу. В первый же день стал его учитель учить по книге читать, а Кристик ему говорит:

«Я и так всякое чтение знаю и нет такого, чему-б я здесь мог научиться».

И ушел Кристик из школы в лес и стал птицам рассказывать сказки. А учитель пошел к Жану и Анне и все им рассказал — какой у них сын непослушный и непочтительный. Жан и Анна сильно рассердились, и вечером, когда Кристик вернулся домой из лесу, Жан и Анна стали его наказывать: хотели запереть в чулан. А Кристик говорит Жану:

«Не сердись на меня: придет время — ты мне будешь водой ноги мыть и передо мной стоять на коленях».

А Анне:

«И ты будешь на коленях стоять и ноги мне вытрешь полотенцем».

Жан и Анна еще больше рассердились, а бес им тут недоброе нашептал, и позвали они пастуха, отдали ему Кристика::

«Уведи его в лес — он своим родителям грубит, дерзкий! Зарежь его, а нам принеси его язык».

Пастух пообещал.

Пастух увел Кристика в лес, да жалко ему мальчика, не захотелось его убивать. Не ножом — а повесил он Кристика за ноги на высоком дереве, потом убил старую собаку и отрезал у нее язык, чтоб отдать Жану и Анне.

В это время по лесу проезжал князь с княгиней и с ними много гостей; и видит князь: на высоком дереве висит мальчик и плачет. Князь велел его отвязать и поехал дальше, а Кристик побежал за каретой. Князь и гости по-

ют песни, едят яблоки, кожуру бросают на дорогу, а Кристик кожуру подбирает и ест — пока висел на дереве, проголодался.

Кристик говорит князю:

«Брось мне яблоко — я тебе про тебя всю правду скажу!»

Князь бросил яблоко:

«Какую же ты мне правду скажешь?»

Кристик ему отвечает:

«Кто в твоём доме никогда Богу не молится и святой воды боится?»

Князь говорит:

«У меня дома сто слуг — и все они православные, Богу молятся и святой водой кропятся».

А Кристик:

«Как приедешь домой, пошли всех своих слуг — дай им порученья; тот слуга, которого всех дальше пошлешь — раньше всех воротится. Он-то и есть, который Богу не молится и святой воды боится. Как вернется он, ты ему скажи: «До чего твоя рука дотронется — бери себе в награду!» Слуга захочет твою княгиню взять, но ты ей сперва вели стать на высокую башню — а чтоб до нее добраться, слуга схватит лестницу. Ты тогда его останови и скажи: «До лестницы твоя рука дотронулась — бери себе лестницу в награду!» А как ты это скажешь, будет гром и огонь и слуга твой вместе с лестницей в землю уйдет, потому что он — бес!»

Князь не поверил и смеется. Но как только приехали домой, разослал он всех слуг — дал им поручения. Один слуга не успел уйти — и уж вернулся и все исполнил. Князь говорит:

«Ловко ты сбегал: бери себе награду! До чего твоя рука дотронется, то — твое».

А княгиня стоит на высокой башне и смотрит. Слуга схватил лестницу, чтоб на башню за княгиней лезть, а князь ему:

«Бери теперь себе лестницу в награду!»

Тут поднялся огненный вихрь и гром — и бес вместе с лестницей провалился сквозь землю.

Князь хочет Кристика у себя в доме оставить, но Кристик ему говорит:

«Мне пора в дорогу итти. Дай мне на дорогу хлеба и я пойду».

Князь дал Кристику хлеба — и Кристик пошел своим путем.

*
**

Он шел весь день, и к вечеру утомился, сел на опушке отдохнуть. Он вынул свою краюху и только что начал есть, из леса выходит старый монах и с ним маленький мальчик. Кристик дал им половину и спрашивает:

«Куда вы вдвоем идете?»

Монах ему ответил:

«Мы идем в Рим!»

А Кристик ему:

«И я иду в Рим — там скоро нового Папу поставят будут и без меня дело не обойдется. пойдете вместе: веселей будет!»

Монах не очень-то обрадовался, что вместе им итти, но согласился — и они пошли.

На следующий день приходят они в большую деревню и видят: к кладбищу несут гробик, а за гробом идут отец с матерью и много народа и все плачут. Монах с мальчиком тоже плакать стали, а Кристик идет и громко смеется. Монах рассердился и Кристику подзатыльник:

«Что смеешься, сопляк — тебе плакать надо, а ты ржешь, жеребенок!»

Кристик ему отвечает:

«Чего же мне плакать: отец с матерью из-за ре-

бенка все время-б ссорились, а теперь за него молиться будут — а малюткина душа прямо к ангелам пошла. Не плакать, а радоваться надо».

Идут дальше. Как стало смеркаться, подошли они к большому дому; монах говорит:

«Пойди постучись, попроси, чтоб нас ночевать пустили».

А Кристик ему отвечает:

«Нет, ляжем лучше на опушке — этот дом сегодня ночью до тла погорит».

Монах проворчал:

«Все выдумываешь, егоза!»

И все-таки лег у опушки. Ночью просыпаются они, слышат, люди кричат и лошади ржут: дом горит.

«Хорошо — говорит Кристик — что не пошли мы в тот дом ночевать».

А мальчику, который с монахом, очень хочется узнать: как это Кристик про все знает? Кристик ему говорит:

«Я сам не знаю, как знаю!»

*
**

На следующий день они приходят в другой город и видят: несут гроб к кладбищу, а за гробом уйма народа и все радуются.

«Чему вы, люди, радуетесь?» — спрашивает монах.

Ему говорят:

«Мы великого отшельника хороним. Он сорок лет в пустыне без греха прожил и теперь его душа прямо в рай полетела».

Монах с мальчиком, со всеми людьми радуются, а Кристик остановился и горько заплакал.

Монах ему опять подзатыльник:

«Чёго слюни распустил? Безгрешная душа в рай пошла — радоваться надо, а не плакать!»

А Кристик ему:

«Святой отшельник сорок лет молился, чтоб над его могилой хоть кто-нибудь слезу пророчил — вот я и плачу».

Проводили они отшельника на кладбище, настала ночь, монах говорит:

«Ступай на постоялый двор, попроси, чтоб нас ночевать пустили».

Кристик отвечает:

«Туда сегодня ночью воры залезут».

Но монах настоял на своем и пошли они на постоялый двор ночевать. Хозяйка дала им хлеба и говорит:

«Уж третью ночь собаки за домом воют — что-б это могло значить?»

Кристик ей отвечает:

«Собаки воров чуют. Сегодня ночью воры к тебе залезут. Приедет к тебе купец с тремя подводами ночевать и прикажет товар в дом внести, чтоб на стуже не оставлять. Ты ему скажи — пускай вносит. А товар его — двадцать две куклы писанные, и в каждой кукле по вору сидит. Как внесут товар в дом, ты защелкни замок, а сама беги людей будить».

Монах пробурчал:

«Прикуси язык, постреленок. Много ты лишнего знаешь».

Ночью все спят. Приезжает купец, стучит в окно — просится ночевать и товар велит внести, чтоб на стуже не стоял. Внесли товар — двадцать две куклы; каждая кукла, как человек, тяжелая.

«Какие у тебя куклы тяжелые!» — говорит хозяйка.

Купец ей отвечает:

«Свинцом налитые — чтоб от ветра не трескались».

Как внесли товар в дом, хозяйка защелкнула замок и

побежала людей звать. Прибежал народ, разбил и куклы, а в каждой кукле сидит разбойник. Разбойников схватили и заковали в цепи — стали искать Кристика, а Кристик с монахом и мальчиком давно ушли.

*

**

Шли они сорок дней и к вечеру приходят в Рим. А в Риме накануне Папа преставился — и на его место нового Папу выбирают. И такой обычай : весь народ три ночи подряд со свечами вокруг церкви ходит — и чья свеча три ночи подряд сама собой зажжется — тому и быть Папой.

Кристик спрашивает монаха:

«Если выберут тебя в Папы — что ты со мной сделаешь?»

«Назначу тебя свинопасом, а если не понравится — уходи куда хочешь!»

Кристик и мальчика спрашивает:

«А если тебя в Папы выберут — ты что со мной сделаешь?»

Мальчик ему отвечает:

«Ты все знаешь Я тебя главным настоятелем назначу».

В это время едет в карете важный вельможа — и все люди шапки снимают — кланяются. Монах с мальчиком тоже поклонились, а Кристик стоит и шапку не снимает.

«Чего же ты перед генералом не кланяешься?» — говорит монах.

А Кристик ему:

«Я лучше перед нищим шапку сниму, чем перед богатым, а кланяюсь я одному Христу-Богу».

Монах с мальчиком купили себе по свечке, чтоб с народом вокруг церкви ходить, а у Кристика не на что свечу купить. Срезал он себе вербную ветку и с веткой в руке со всем народом пошел. Пол-ночи ходили они—и вдруг у Кристика в руке верба огнем запылала. Монах кричит:

«Тушите, тушите — он колдовство разводит!»

Все бросились тушить — а огонь горит, и только когда солнце встало сам-собой погас.

На следующую ночь опять стали ходить — и снова у Кристика верба в руке запылала. На третью ночь — опять загорелась верба. И по обычаю пришлось Кристика в Папы поставлять.

Как поставили его Папой — он призывает монаха:

«Назначаю тебя свинопасом, а если не нравится — ступай куда хочешь.»

Монах только с ноги на ногу переступил — и никто его больше никогда не видел.

Тогда Кристик призывает мальчика и говорит ему:

«Назначаю тебя главным настоятелем.»

И стал мальчик при Папе самым главным.

*
**

А в эти дни Жан и Анна совестью мучаются и тоскуют, что велели своего сына зарезать. Пошли они в церковь и во всем покаялись священнику. Священник им говорит:

«Нет у меня власти простить вас за такой большой грех. Ступайте в Рим: только один Папа и может вас простить и наказание назначить.»

Жан и Анна пошли в Рим, и Папа их к себе допустил. С первого взгляда Кристик признал их, но виду не показывает, и говорит им:

«Очень ваш грех тяжкий, надо мне всю ночь помолиться. Приходите ко мне завтра утром, я вам наказание назначу!»

На утро Кристик велит приготовить сосуд с водой и полотенце. Жан и Анна стоят, и страшно им — какое им за великий грех назначит Папа наказание? А Кристик посадил их на скамью, перед ними встал на колени и стал им ноги

водой омыв, и полотенцем вытирает. Тогда открылся им Крестик — кто он и сказал:

«Я вас давно простил — а у Бога на всех милосердия хватит!»

И стали они вместе жить в большой радости.

Владимир Диксон

СТИХИ О СОВРЕМЕННОСТИ

1.

На склоне дней трагических империй,
Ногой — на трон, душой — на эшафот
Восходит розовый монарх. И вот
Далекий гул уже гремит о берег.

И по ночам за окнами дворца
Стоит без сна, испуганный и кроткий.
И в полутьме белеет профиль четкий
Привычного, монетного лица.

И видит вновь — слепительный огонь! —
На площади народ и гильотину...
И чувствует, как вновь ему на спину
Ложится чья то жесткая ладонь...

И от кошмара падая назад,
За пуховик широкого алькова
Кричит во тьму нечеловечье слово
И слышит брань и пьяный рев солдат...

2.

Республика в фригийском колпачке
На празднествах поверженных Бастилий
Красней, чем кровь. И вот в ее руке,

Как отблеском, у королевских линий
Алеет шелк прозрачных лепестков....

...А с площади поспешный стук подков,
Дохнув по окнам воздухом сражений,
Гремит в конвент. И, падая с коня,
Охрипший всадник спит в изнеможеньи,
Едва сказав, ругаясь и кляня...
— Но в городе уж шепчутся в испуге
И знают все:

«Король опять на юге!»....

3.

Утром туман синий
Ползет и змеится, как ложь...
...Утром на гильотине
Оскаленный блещет нож....
Душа еще в теле бродит,
Измучена и пуста,
Но мир, как корабль, отходит
От набережной порта.
И жалостью нежной дышит,
И машет платком разлук.
— Но медленнее и тише
Предсмертного сердца стук.
...Не знаю, не знаю, что вспомню
В холодном и долгом сне,
Такою тоскою огромной
Придвинувшемся ко мне.
Не этот-ли час последний,
Последний туман у окон,
И за городом, к обедни
Последний, дрожащий звон...

4.

...Никто не знал, что приближался срок
Под дробь непогрешимых барабанов,

Когда качался в белой мгле туманов
На площади повешенный пророк.

Пылили по дорогам эскадроны,
Фуражки запрокидывая вбок.
Но немощен и хил был старый бог,
И немощны, и хилы были троны...

И города, в предверьи новых эр,
Заканчивая ежедневный ужин,
Еще не знали, что уже не нужен
Их крепкий мир, а вечный Робеспьер
Уже повел на плаху королеву...

О, не жалея же, робкая душа,
Полей, приготавливаемых к посеву!
— Как можешь ты без радости дышать,
И можно-ль жить без гордости и гнева!...

...И новый мир, сменяя мир былой,
Идет в кругу иных тысячелетий
И так же дышит холодом и мглой
На медленном, чуть брезжущем рассвете...

Вячеслав Лебедев.

Снова по родной земле

(ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО) ¹⁾

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ГРАНИЦЕЙ.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви!

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Когда основной вопрос — ехать ли нелегально в Россию — мною был решен утвердительно, я взял уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. и с большим вниманием прочел «Особенную Часть», Главу I, Государственные преступления. 1) О контрреволюционных преступлениях.

Из чтения этой глубоко поучительной книги я узнал, что не только нелегальное возвращение в Россию может быть карается смертной казнью, но, что в случае поимки, меня могут подвести под статью о каком угодно «контрреволюционном преступлении». Вовсе не потому, что я контрреволюционер, а потому что «Особенная Часть», перечисляя различные преступления, изобиловала всевозможными и весьма туманными «и т. п.», или «и т. п. средства».

Каждое из подобных «и т. п.» грозило смертью...

¹⁾ Автор этой статьи нелегально вернулся в Россию. Редакция.

Имелись в кодексе и такие скользкие определения эмигрантских и неэмигрантских преступлений, как, например: «сношение с мировой буржуазией», или еще лучше:

«действие в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности».

И хотя я, по моему глубокому убеждению, ни в каких сношениях с «мировой буржуазией» не состоял, и никаких «действий в направлении помощи той части международной буржуазии, которая» и так далее, не предпринимал, тем не менее, чем я смог бы, в случае провала, доказать товарищу Крыленко мою правоту? Разве одной моей принадлежности к русской социалистической партии, входящей в Социалистический Интернационал, руководимый такими «лакеями капитализма», как Вандервельд, Макдональд и Отто Бауэр, не достаточно для того, чтобы доставить государственному обвинителю необходимые доказательства моей виновности?

Всем едущим нелегально в Россию я настойчиво советую прежде всего ознакомиться с «Особенной Частью» «Уголовного Кодекса С.Р.Ф.С.Р.

Легально же ехать в Россию я не мог. Не потому что бы был виновен в каких либо преступлениях против Конституции Р.С.Ф.С.Р., а потому что, случайно очутившись за границей, превратился в русского/лишенного подданства.

*
**

Как проехать нелегально в Россию?

Способов много. Выбор того или другого зависит от времени переезда и территории, с которой переезжаешь.

Если взять географию СССР, в которую входит интересовавшая меня Р.С.Ф.С.Р., то в ней можно прочесть следующее:

«Сухопутные границы на западе с Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией; на юге с азиатскими государствами: Турцией, Персией, Афганистаном, Китаем и на востоке — с Японией».

Все эти границы мне определенно не нравились. Переход каждой из них, за исключением, быть может, Афганистана, в

случае неудачи, мог рассматриваться, как переход с территории «мировой буржуазии», хотя бы даже на том или ином клочке этой территории правило социалистическое правительство.

«Морские границы. На севере СССР омывается Северным Ледовитым Океаном и его морями: Баренцевым, Белым и Карским; на востоке — Великим Океаном и его морями: Беринговым, Охотским и Японским; на западе — Финским заливом Балтийского моря и на юге — морями: Черным, Азовским и Каспийским».

Морские границы мне нравились больше. Некоторые из них совершенно исключали возможность «сношений с той частью международной буржуазии, которая» и т. д...

В конце концов, так ли уж трудно перейти границу, тянущуюся десяток тысяч верст (не говоря уже о трех океанах), по равнинам, горам, ущельям, полям, лесам и пустыням?

Не девять ли всего лет отделяют нас от того времени, когда сквозь проволочные заграждения, через окопы наполненные вооруженными людьми, убегали к себе на родину военнопленные? Кажется бы муха не пролетит, так нет же, тайком проходили иногда целые партии. А тут одному человеку, мирному в мирное время, как не пройти с картой и компасом в кармане в свою собственную, в свою родную землю в одной из точек этой десятитысячeverстной границы?

А там? А там:

«Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колени....

.....
.....
.....

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщикн!...

Имея же, вдобавок, хорошо вымытое командировочное свидетельство, как не добраться по своей, а не по неприятельской стране, до первой железнодорожной станции?

Когда же вы вошли в вокзал этой станции, купили билет до первого большого города и, приехав в него, пересели в поезд, идущий на Москву, ваше дело сделано. В худшем случае вы человек с неопределенным происхождением, бродяга.

Но сохрани вас бог переезжать границу при помощи контрабандистов, пролезать «под проволоку» с «переводчиками», или пользоваться помощью сочувствующих, товарищей и знакомых. Вы рискуете провалиться и обнаружить ваше заграничное происхождение.

Вот почему я при всем желании не мог бы поделиться с вами впечатлениями о романтических персонажах подобных переходов. Их не было. И не могу я, как бы мне ни хотелось, рассказать о фантастическом путешествии, проделанном мною до самой Москвы.

Зачем учить разуму Г. П. У.?

ВОСКОВОЙ КУЛАЧЕК

В Москву я приехал с того самого вокзала, с которого уезжал девять лет тому назад в провинцию. Тогда в зале третьего класса набитой битком народом, рвущимся на перрон, происходило что то невозможное. Ругань, крики, визг. И только тогда, когда появился матрос с ногом и, матерно выругавшись, крикнул:

«По два в ряд. В затылок. Мать вашу!... Сволочи»...

воцарился образцовый порядок. И, оторвавшись от провожавших меня, я с плеч бушевавших на перроне людей влез в окно своего вагона.

В 1927 году грязного, заплеванного, забитого людьми вокзала не было. Я вышел на площадь и очутился в Москве.

В Москве мне надо было перебыть всего лишь до первого поезда на Ленинград, цель моей предварительной по России поездки. В Ленинграде я должен был создать себе «биографию», превратиться в заправского гражданина С.С.С.Р., и потом уже окончательно раствориться в столичной толпе совет-

ских поданных, стать таким, как все, и начать новую жизнь в одном из бесчисленных российских захолустий.

*
**

«Открыт паноптикум печальный»

Мой поезд в девять с половиной вечера. Времени хватит. На площади на меня набрасываются извозчики. Их видимо не видно. И наряду с одетыми в прежние старые армяки имеют-ся и в новых рабочих куртках.

— Вам куда?

— На Красную площадь.

— Три рубля...

— За два подвезу...

— За рубль пятьдесят...

Беру самого дешевого. И еле, еле трусим рысцей по Москве предвечерней, Москве красноплаточной, Москве шумной и торопливой.

Все куда-то торопятся по переполненным народом троттуарам. Много мужчин в широких, блестящих, кожаных, «казенного образца», куртках. Словно из черной клеенки сделанных! Мужчины и женщины в кепках. И много женщин и девочек в красных платочках. Точно красные маки людские двигаются.

— Эх, сколько у вас в Москве платочков красных, говорю извозчику.

— В учреждениях служащим раздают, комсомолкам, пионеркам,

отвечает извозчик.

А повязаны платки по новому. Сзади узел и уши открыты.

И все торопятся, и все с портфелями. На углах нередко китайцы, продают кожаные вещи, булавки, гребенки и всякую дрянь.

Ломовые, извозчики, автобусы, трамваи и иногда грязно-серые автомобили — что за шум, что за движение...

Мой первый и единственный визит в Москве — визит Ленину, усопшему самодержцу СССР. Как не взглянуть на этого великого основателя коммунистического ордена, швырнувшего гигантскую страну в отвлеченное царство утопии?

На Красной площади, напротив памятника Минину и Пожарскому деревянный, кубический мавзолей с надписью «Ленин». У входа длинная очередь. Пускают с семи вечера. Становлюсь в очередь, в пару с рабочим, и через несколько минут двигаюсь с очередью к входу. У входа, как вкопанные красноармейцы, на часах. И подмостками вокруг стеклянного футляра — помните ли в паноптикуме в вашем раннем детстве «царицу Клеопатру Египетскую?» — мы пошли с рабочим по коврам вокруг мертвого Ленина. Совершенно белое, в электрическом свете лицо, безволосое, спокойное, не из воска ли отлитая фигурка?... На черном покрывале маленькая тщедушная рука, судорожно сжатая в кулак, о вещей символ! с потемневшими пальцами. Левая вытянута вдоль тела. В голове и в ногах застывшие часовые.

Ленин! Тот самый Ленин, что в Женеве и Париже на эмигрантских наших собраниях не жалел в злобной полемике ни клеветы, ни подтасовок. Почему то мне этот именно Ленин вспомнился, эмигрантский, а не Ленин из Смольного, или Кремля.

И так странен показался паноптикум с часовыми, так нелепа восковая фигурка со сжатым кулачком, бранные останки, превращенные пронырливыми учениками в мощи...

Позднее в Питере я рассказал о моем визите в мавзолей случайно в Питере встреченному московскому приятелю. Он нахмурился и сказал:

— Я уж пять лет в Москве живу, но ни разу туда не пошел. Не могу. Это значило бы на поклонение итти. У нас ведь так ходят...

И смерть не провела до сих пор, стало быть, грани отделяющей мертвого от живого... Или давит еще живых след его, эта жалкая восковая фигурка с тщедушным кулачком?

Давит...

Но мне визит этот был нужен. Паноптикум — да это же откровение!

Между мавзолеем и Кремлевской стеной — в цветах могила Дзержинского. Мертвец на страже мертвеца.

Sic transit...

В ПИТЕР!

— Вам куда?

— На Николаевский вокзал, товарищ.

Сорвалось черт, побери!

— Николаевского больше нету, гражданин, — вразумительно сказала кондукторша. Октябрьский теперь, не Николаевский.

Собственно, имея билет и плацкарту, можно приехать на вокзал за две минуты до отхода скорого или ускоренного поезда. У дверей вокзала внушительный швейцар, гонит прочь нищих. Вот надоедают! Вокзал внутри отремонтирован. Буфет переполнен, все столики заняты. От'езжающие, провожающие, пережидающие. Пиво, пиво и пиво.

Взял билет на «жесткое» место, заплатил что то около одиннадцати рублей. «Жесткое место» — это бывший третий класс, «мягкое» — второй, и есть еще «международный вагон». Впрочем между собой все говорят: третий, второй класс.

За три рубля к «жестокому месту» беру очень чистое белье и матрас.

Наблюдаю на перроне, как к последнему свистку, налегке с небольшими чемоданчиками, подходят деловые люди. Они все берут (как и я) белье и матрас. Это по большей части коммунисты.

Проводник отобрал билеты — на ночь — но где тут спать... Сколько раз по этой дороге езжено, и вот снова, наконец то снова, замелькали знакомые остановки.

— Клин?

— Да, Клин! Поезд стоит пятнадцать минут!

И публика ринулась в буфет. Буфет, как все буфеты на больших вокзалах, на столиках чистые скатерти, цветы в вазочках, сервировка; ходят в белых передниках быстрые и вежливые лакеи; за прилавком горячие пирожки — на расхват! — и «автоматическое» (дешевле за прилавком) пиво, под стеклянными колпаками бутерброды, и с семгой, и с икрой, и селедка, молоко стаканами — «кипяченое и сырое», простокваша, обязательный «лактобацилин», и кучками папиросы...

Народу тьма. Звенит посуда. Толпятся у стойки. От папирос дым. Шум. Говор. И запах сытной еды.

На перроне милицейский. Гуляет публика. За перроном, у задних вагонов, бабы с лотков продают снедь. Их не так много, как в прежние времена.

Поезд двигается по свистку. Звонков — помните третий звонок? — больше не услышите. После Клина все укладываются. И в Твери в буфете народу уже мало. Только те, кому выпить хочется. Пьют в дороге много и, главным образом, пиво.

Рано утром:

«Малая Вишера! Поезд стоит двенадцать минут»...

Станционные мальчишки разносят по вагонам кофе с молоком (отвратительный!) и горячий чай; «бабешки» на перроне бегают с яблоками.

На платформе — милицейский, станционный сторож. В утреннем небе четка перед станцией церковь. Покупаю газеты, питерские. В поезде все едут или в «Питер» (больше всего), или в «Питербург», или в Ленинград (реже), но не в Петроград. На дощечке, обозначающей расстояние от Малой Вишеры до Ленинграда, замазаны версты и поставлены километры. Остались только евразийские «Версты» в Париже, в СССР же (официально) — километры.

Перед большими станциями по поезду ходит проводник и предупреждает о штрафе, напоминание о котором висит на стенке вагона в виде надписи:

«Три рубля штрафу».

И в вагонах чисто, все заботятся, все убирают сами за собой. А кроме того, ворча и размахивая метлами, подметают вагоны уборщицы.

Любань.

Все, как по команде, в буфет. На перроне толпа дачников, служащих — ждут почтового поезда на Петербург. В наш их не пускают.

И пошли и замелькали дачи. И вот уже Колпино. Фарфоровская. И ровно в десять утра наш поезд на Николаевском (нет на Октябрьском, также, как и в Москве, вокзале. На фронтоне его «Ленинград». Выхожу с чемоданом в руке на платформу «седьмую». Навстречу носильщики с бляхами, в перед-

никах. Не навязываются — их меньше, чем надо. С соседней платформы с подошедшего поезда спешит подъехавшая толпа дачников. Одна толпа направляется с перрона в бок, во двор вокзала — я с ней, но меня не пускают: «по служебным билетам», другая к боковой двери. Направляюсь туда и я. У двери затор — отбирает билеты всего лишь один человек. Готово, и я попадаю в корридор, иду мимо буфета — «с седьмой платформы» — заглядываю в стеклянную дверь. Дальше, дальше... Иду в конец, в конце уширение. Телефонная автоматическая будка — не позвонить ли друзьям? — на стенах расписание поездов, и, оглянувшись, вижу надпись: «ручной багаж». Сдаю чемодан. Иду к дверям и попадаю на швейцара:

— Выхода нет!

Но я толкаюсь в открывающуюся рядом дверь, выхожу на ступени, и передо мной Знаменская площадь, Александр III на коне. Внизу на цоколе надпись. Из строфы четверостишия в память врезаются: чучело, пугало...

Петербург!

ПРОСПЕКТ ВОСПОМИНАНИЙ...

(Прспект «25 Октября»)

...И светла
Адмиралтейская игла.

В день холодный, в день осенний
Я вернусь туда опять
Вспомниг этот вздох весенний,
Прошлый образ увидеть.

Свидание с Петербургом для меня было волнующим, как волнует встреча с любимым человеком после долгой разлуки. А Петербург — единое, живое существо, родное и любимое.

Начало осени, ясной, прохладной, петербургской осени, день тихий и проврачный. И я забываю о моем решении: по телефону справиться — дома ли друзья? Итти, итти без конца по этому чудесному — не самому ли призрачному в мире? — городу, пробежать по всем площадям, улицам, переулкам, набережным и мостам, заглянуть на острова, в дворцы в театры — всюду, где так ясно чувствовалось биение великого сердца России в незабываемый, неповторяемый «1917 Год». На десять лет стать моложе, на миг воскресить в трепетном, первом к Пе-

тербургу прикосновении, — а там начнутся будни, — все, что вихрем налетело на этот единственный город, на Россию, на меня в тот огненный год...

— Гражданин садитесь подвезу.

И я машинально, не думая, отвечаю:

— На Ленинградскую сторону.

— На Ленинградскую? Нет такой стороны...

— Ну, к Мечети.

— К Мечети, на Петроградскую, стало быт, сторону...

Итак Петрограда нет, но Петроградская сторона осталась. Я вдруг вспоминаю мое решение идти пешком, заявляю извозчику, что цена не подходит и мимо Знаменской церкви — и та же часовня с иконами без риз — выхожу на Невский.

Мне приятны после московской суетни и толкотни — на каждом шагу: «извиняюсь»... — важность петербургских улиц и четкость его строгих линий.

Я иду, — не бегу ли? — по правой стороне Невского, и смотрю на все: на старые потрепанные оставшиеся вывески, гласящие о вещах, которых уже нет, на новые рекламирующие то, чего раньше не было, на незнакомые, расплодившиеся кооперативы-булочные и кинематографы, и каждая мелочь врезывается мне в память, как на фотографическую пленку ложится. Перехожу через проспект Володарского — бывший Литейный — он весь сколько глаз видит разрыт рабочими. По-прежнему розовеет за мостом с конями Аничкин дворец, и в саду при нем новый для меня большой, белый плакат на шести: Сад Отдыха.

Так же роскошен прежний Елисейев, теперь кооператив, с уложенными в витринах в зелень фруктами, крупным виноградом, огромными яблоками и грушами, с балыком, семгой, со всевозможными «деликатесами».

И на «той» стороне все тот же чистенький, посыпанный песком Екатерининский сквер. Падают осенние листья, играют дети и окруженная бронзовой свитой вельмож стоит Екатерина. У входа в сквер новость — деревянные полки со старыми книгами — уличный букинист.

А за сквером Публичная Библиотека с остановившейся на шести стрелкой.

Улица 3-го июля — бывшая Садовая, все тот же Пассаж,

и на «той» стороне Гостинный Двор, с открытыми магазинами, частными и государственными, не шумный, не многолюдный в этот утренний для Петербурга час. У Гостинного несколько коричневатых «машин». И за ним Дума, из которой русская общественность «шла умирать с Временным Правительством» в достопамятный день 25 октября. Теперь там городская продажа железнодорожных билетов. И все на «той» же стороне, перешел таки я на нее, против незнакомого на «этой» закрытого Гослаборснабжения — бывший Риттинг, — на углу Екатерининского канала — теперь канал Грибоедова, — знакомая надпись — аптекарский склад Шаскольского, и в огромном окне огромный живой серодымчатый кот с голубым бантом. И старыми знакомыми стоят перед Казанским Собором отечественные генералы по краям площади с деревцами и клумбами цветов.

И снова я на «правой» стороне. Сразу через канал шестиэтажный дом Зингера, большими буквами на нем: Дом книги, и за колоссальными стеклами в витринах книги — «литература для деревни», «новинки».

Конюшенная, — улица Желябова, — навстречу зеленый автобус, и передо мной в прозрачном небе, уже невдалеке Адмиралтейская игла...

На «той» стороне большие часы за витриной и вместо старого Поль Буре: — Магазин Точной Механики — и рядом с ним, до него, Прозодежда. Перед ее окнами толпа, а за толпой в окнах манекены — кофточка, пальто и прочая «прозодежда».

Полицейский мост через Мойку, прохожу мимо «Оптиков» — таковы вывески оптических магазинов, — и вот я на Морской под отремонтированной, коричневой Аркой Главного Штаба, и по Морской летят автомобили «товарищей», торопящихся в «административный отдел Ленинграда».

Так узнавая старых знакомых, знакомясь с незнакомцами, пробежал я Невский и воскресил в своей памяти все, все: и пулеметы 26 февраля, и радостные манифестации 27, и майские — помните безконечные женские манифестации с «Вы жертвою пали в борьбе роковой» — и «долой 10 министров капиталистов», и манифестации наступления 18 июня и июльские кронштадские колонны, и июльские же колонны с фрон-

та, и «шедшую умирать русскую общественность», и вступление ленинских латышей...

И из под Арки, выйдя на площадь Урицкого — Дворцовую Площадь — я увидел весь в лесах Зимний Дворец.

Леса Зимнего Дворца были для меня неожиданы и как то оборвали стройную нить воспоминаний, единство впечатления.

Направо Александровская колонна, — позднее узнал треснувшая, — налево прохожу мимо какой то огромной, нелепой, красной, деревянной коробки со ступенями, и узнаю от нищего, что это:

«Первомайская трибуна. Больше не сымают. На октябрь пошла».

Налево заросший осенний — зеленое с желтым — Александровский сад и Адмиралтейство. Оно пожелтело, посерело, постарело... Кроме сада какие то новые нелепо посаженные деревья.

Зимний Дворец, тоже постарел, как-то облупился, и подойдя вплотную я рассмотрел на его стенах следы октябрьских пуль... Сохранят ли их после ремонта?

У садика при Зимнем нет решетки, стоят одни ворота. Я вошел в них и по газону, не огибая, как раньше решетки, вышел на набережную. Почему так мало в садике деревьев?

И передо мною Дворцовый — нет Республиканский — мост и Нева. Я знаю, что это не так, но Нева стала шире. От того, что на ней нет «поплавок», нет пристаней финляндского легкого пароходного общества, гораздо меньше барж, нет прежних паракоридков и реже ходят большие, Нева и впрямь шире, прекраснее, величественнее.

Перед Дворцом и дальше Набережная вся застроена бараками для рабочих, даже рабочий ларек имеется. Это ремонтируют набережную, поврежденную наводнением двадцать четвертого года. Работают лебедки, поднимают тяжести.

— Поверите-ли, даже некоторые каменные тумбы водой сорвало. В дворцовом саду деревья с корнем выкорчевало, объясняет мне «провинциалу, в первый раз в Ленинград приехавшему», молодой рабочий.

Только у Летнего — у входа каким-то пустым мавзолеем часовня, из нее все вынесено — вижу первый поплавок. От него пароход на Елагин остров ходит.

Дальше, дальше! Выхожу на Троицкий мост, и попадаю на улицу «Красных Зорь» — Каменоостровский. На низком пустыре Институт Мозга — дворец Николая Николаевича. И вот дом Кшесинской, Мечеть. И всюду зелень, сентябрьская красочная зелень...

НА СТРАХ ВРАГАМ...

Мне повезло. На другой, по моем приезде, день в Питере была объявлена «примерная мобилизация».

Волнение она вызвала, как если бы речь шла не о «примерной», а о настоящей. Встали все в этот день спозаранок, ошарашенные, — не объявлена ли уже война?

— Кем?

— Да кем, англичанами...

Не догадались с утра запретить продажу вина и водки, и, когда к вечеру спохватились, город был полным полнехонек пьяными... Все равно пропадать! Так или иначе, но кооперативы — винных лавок нет, «казенная продажа» **только в кооперативах** — поторговали бойко.

Из нашего дома один непман уезжал во Псков, жена с плачем уговаривала его остаться:

— Вель отрежут тебя от Петербурга, пропаду одна...

Каждый сообразно своему воинскому билету несся на соответствующий воинский пункт, совершенно неуверенный в том, что вернется домой.

И не могла эта одновременная в Питере и в Крыму примерная мобилизация не произвести ошеломляющего впечатления.

Мой хозяин, быстро вернувшись со сборного пункта — он по тыловому учреждению, а тыловики оказались ненужны, — очень ярко набросал мне картину психологии советского обывателя, да еще питерца.

— Ты послушай только, сказал он, все последние годы призрак войны носится над нами.

А в последние месяцы угроза войны превратилась в настоящую манию. Вся наша печать только о ней и говорит. Статьи — о войне. Хроника — о войне. Речи ораторов — о войне. Весь Петербург читает «Красную Газету», даже самые

малоимущие и неинтеллигентные обыватели покупают ее в надежде выиграть купон на «прозодежду». И «Красная Газета» не только полна сообщений о войне, но в ее хронике попадают совершенно неотразимые для известной обывательской среды аргументы. Например, сообщеньице о том, что в польских газетах появилось известие о появлении на небе огненного креста! Такой же крест, как известно, появился на небе в 1914 г.; ясно — поляки думают о войне. Или заглавие во весь лист: «твердолобые нажимают на Францию с целью вовлечь ее в войну».

«Нажимают!» Английские лорды нажимают! Черт его знает, как у массы претворяется это «нажимают».

А кроме всей этой компании существуют манифестации рабочих и учащихся. Вдруг ни с того ни с сего, в один прекрасный день на все заводы и фабрики, во все высшие школы и техникумы, во все правительственные учреждения приходит приказ:

закончить работу и занятия к двум часам дня и итти на манифестацию против войны!

Слух с быстротой взрыва несется по учреждению и фабрике. Забрав из клуба и «ленинского красного уголка» всящие там красные ленты с соответствующими надписями вроде:

«мы выпустим голубую кровь лордов»,

и не смотря ни на какую погоду манифестация идет по городу. Тут все: сначала взрослые, затем школьники, спортивные общества, моряки, курсанты. Играет музыка. Поют песни. На другой день во всех газетах полный отчет о «Грандиозной манифестации против войны». А каждый участник манифестации, и каждый зевака, с любопытством читающий надписи на плакатах, приходя домой, распространяет слухи о неизбежности войны и о коварных замыслах врагов и «Антанты».

— Да, но ведь эта агитация в конце концов приедается. Неужели же ей верят?

— Еще как. Это ведь словно гвоздь в голову вбивают: будет война, будет война, будет война... Вводится допризыв-

ная военная подготовка подростков в школах второй ступени; все больше и больше придается значения лагерным сборам студентов; больше уделяется времени в вузах ²⁾ теоретическому изучению военного искусства; обучают военным наукам студентов, и не редкость встретить студентку, которой тактика нравится больше гистологии. А что делается в комсомоле — это какая то поголовная милитаризация и все с припевом: будет война, будет война, будет война. А дни «Доброхима» и «Авиохима»! А маневры комсомола! А маневры красной армии и флота! Да, ведь о них репортажи, как о настоящей войне. А какие восторги — маневры удались! А демонстрации с противогазовыми масками и лекции о том, как все могут погибнуть от химической войны, а война обязательно будет химической.

А если всего этого тебе мало, то будь ты какой угодно Фома неверующий, а все же дрогнешь, когда получишь, как получили все учреждения этой осенью приказ: срочно сообщить чем отдел, или отделение, способно выразить свое участие в обороне страны. Все конечно отвечая, преувеличивали, как не пустить пыль в глаза, но у каждого сжалось болезненно сердце. А когда при этом в городе бросают бомбы «английские агенты», когда происходят в ответ бессудные казни, когда потом ловят и публично судят перебравшихся с помощью финляндских и английских шпионов эмигрантов-монархистов, когда устраиваются новые процессы и ясно, что эмигранты-монархисты действительно снюхались с Англией, и когда происходит мобилизация, как не усумниться в ее «примерности»?.

— И с каким чувством вы принимаете эти слухи о войне?

— Ну, конечно, с ненавистью. Никто воевать не хочет. Все боятся войны. Все хотят как-то окрепнуть. Ведь война — это тот ужас, который мы пережили не в четырнадцатом-семнадцатом, а в девятнадцатом-двадцать первом годах. Это снова голод и холод, военный коммунизм и карточки. А мы такой второй войны не переживем. Мы износились физически и психически. Если бы ты знал, как у нас все, все без исключения,

²⁾ Вуз — высшее учебное заведение.

ненавидят эмигрантских монархистов, мечтающих о войне Англии и Польши. против России. Драться то ведь нам, голодать то ведь нам, погибать то ведь нам, а не Сталину с Бухариным. Да вот сходи на новый процесс эмигрантов-монархистов, на днях откроется. Сам все поймешь.

Мобилизация, конечно, удалась на редкость. Все граждане явились кому куда следует, — попробуй-ка не явиться! и власти могли с удовлетворением отметить рвение советских подданных к обороне страны.

Признаюсь, когда по улице, грузно и тяжело шагая, шла полурота одетых в хорошие желтого цвета куртки румяных парней и в такт пела... цыпленка, мне еще более диким показалось, чем казалось это за границей, желание эмигрантских сверх-патриотов натравить на нас — теперь то я уже могу сказать: не только на «СССР», но и на нас — иностранцев.

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Пошел по Невскому гулять,
Его поймали, зарестовали,
Велели книжку показать.

Громко выводит ясным и чистым голосом запевала и разом подхватывает вся полурота:

Я не расстреливал, я не подделывал,
Я только зернышки собирал...

Сколько я таких партий, иначе и слова не подберешь, румяных, мешковатых парней встречал за эти два дня на улицах Ленинграда. Идут как-то по мужицки, издали впечатление, что и горланят по мужицки.

У Зимней канавки мне в глаза ударил сноп ослепительного света. Поднял голову и увидел довольную ухмыляющуюся рожу молодого красноармейца. Навел «зайчика» и рад. Скучно этому здоровенному верзиле, и забавляется, как может. А через распахнутые окна видна клубная полковая комната, увешенная — так уже полагается — красными полотенцами с надписями и неизменными портретами Ленина, Ка-

линна, Ворошилова и прочих высших особ, которых надо знать по красноармейской словесности.

Что ему высокая политика, воинственный бред доморощенных вождей и заграничных сумасшедших? Прыгает «зайчик» по панели, попадает мне на ноги, грудь, слепит лицо. Хочет румяный верзила и хохочу, закрыв руками лицо, я.

Глеб Гонцов

Петроград. Сентябрь. 1927.

(Продолжение следует).

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

1

Полутора тысячам почетных иностранцев, приглашенных в Москву на празднование десятилетия большевицкой революции, будут преподнесены итоги советского творчества во всех областях жизни. Сюда, конечно, войдут и «достижения» на культурном фронте. Иностранцы будут восторгаться ростом музеев и обилием театров, будут верить в гениальность Маяковского и засчитывать в актив ленинизма открытия академика Павлова и стихи молодых поэтов.

Все, что за эти десять лет было создано творческими усилиями интеллигенции и народа, слепые поклонники коммунистического государства будут прославлять, как результат усилий мудрой власти и единой и единственной партии.

А в то же самое время ее зарубежные враги изо всех сил будут доказывать, что никаких достижений в России нет, что власть разрушила культуру, сковала искусство, задушила творчество. Десятилетний юбилей большевицкой революции послужит поводом для очередных нападков на коммунистических управителей.

Конечно, условны и повод этих славословий и атак, и самая постановка вопроса о решающем влиянии власти на культуру. Ведь не собираемся мы ставить знака равенства между революцией и большевизмом, и общим местом стало утверждение, что революция и шире и глубже большевизма, что коммунизм лишь одно из явлений огромного и сложного революционного

процесса. Почему же все речи о «достижениях» или о разрушениях на «культурном фронте» неизменно сводятся к похвале или порицанию советской власти? Точно возможно поставить знак равенства между этой властью, ее культурной политикой, и всем тем, что было создано в России за последние годы в литературе, науке и искусстве.

Напрасно умиляются иностранцы при виде сотен книг, которые им показывают в госиздатах: не коммунисты их написали, не коммунисты сохранили в самую тяжелую пору русское слово и русскую творческую мысль. И напрасно от этих же книг отмахиваются те из эмигрантов, которые считают, что всякое признание наших культурных успехов за последнее пятилетие — есть скрытое приятие советской власти — точно власть их породила и взлелеяла.

Власть может влиять на культурное развитие страны, может ему способствовать или тормозить его, но никогда никакая власть не смогла единственно своими усилиями ни культуры создать, ни культуры разрушить. Культура всегда сильнее власти. Развитие русского искусства за эти десять лет, когда власть продельвала над ним столько губительных опытов, — лучшее тому доказательство.

Не только неправильна эта с разных сторон идущая попытка успехи или неудачи культурного творчества объяснить заслугами или преступлениями власти, но и условна дата, под которой подводят итоги. Конечно революция началась не в октябре, а в феврале 1917 г., и десятилетие этого величайшего перелома русской истории уже прошло. Но «юбилей», как бы он ни был произволен, располагает к «обзорам», выводам и обобщающим формулам. Попытаемся и мы установить некоторые общие линии развития русской литературы за минувшее десятилетие.

2

Совершенно неправильным было бы рассматривать эти десять лет, как единое целое. В этот сравнительно короткий промежуток времени история втиснула несколько периодов, различных друг от друга, особенно в области литературы. В течение нескольких лет менялись и внешние условия существования русской литературы, и ее внутренние устремления..

Страшные годы развала, голода и гражданской войны (1918-1921) сопровождались физическим и духовным обнищанием и разрушением русской литературы. С 1922 г. начинается ее возрождение, идущее неровными скачками.

Обе линии — падения и под'ема — совершенно отчетливы и ясны. Поскольку истощение или развитие литературного творчества отражается в грубых цифрах, любопытно отметить кривую книжной продукции последних лет. В 1901 г. в России вышло 11 тысяч названий книг; в 1913 г. оно достигло 34 тысяч. В 1920 г. книжная продукция упала до 3260 названий, из которых огромное большинство составляли агитационно-пропагандистские произведения, но уже в 1923 г. она поднялась до 18 тысяч, и предполагается, что в 1927 г. она сравняется с довоенной.

Конечно, количество ни в какой мере не определяет качества, а статистика не делает различия между романами Толстого или Брешко-Брешковского. Но если цифры не могут определить, хорошая или дурная литература в России, то все же они с большой наглядностью доказывают, что так или иначе литература эта существует, ибо значительная часть этих десятков тысяч названий, выбрасываемых ежегодно на книжный рынок, относится к изящной словесности.

Изучать эту литературу в данный момент весьма нелегко, особенно для эмигрантов. Приходится выйти за тройное кольцо чисто умственных препон. Во-первых, трудность общего характера: изучению современности грозит всегда болезнь близости, отсутствие перспективы, которая одна только и позволяет располагать разрозненные явления в некие общие ряды, улавливать связь между разомкнутыми звеньями, устанавливать место «незаконным кометам» в кругу расчисленных литературных школ и направлений.

К этой неизбежной близорукости современников присоединяются еще и кривые стекла политических страстей. Всякое давление политики было всегда губительно для оценки искусства, а ведь нынче и в России, и за ее пределами писателей рассматривают с точки зрения их «классового подхода», партийной принадлежности и коммунистических симпатий. И, наконец, нам застит глаза эмигрантский туман. Именно потому, что живем мы за-границей, мы каждый рассказ принимаем, как весть

с родины, и в каждой повести ищем отражения той, русской жизни. Мы любопыствуем, какой быт отразился в произведениях Пильняка, что рассказал нам о Сибири Вс. Иванов, а о деревне Леонов. Литература превратилась для многих из нас в документ, в живую иллюстрацию газетных телеграмм, и подчас ошибки нашей художественной оценки порождены неотразимой нашей тягой к «картинкам действительности».

Преодоление всех этих трудностей возможно лишь в некоторой мере. Полностью не удастся выйти из их плена, и не может поэтому обзор современной русской литературы претендовать на научную стройность, объективность и исчерпывающий охват.

3

Есть одно явление в современном русском искусстве, которое надо тотчас же выделить, потому что оно не связано органически ни с его развитием, ни с его уклонами. Я говорю об «искусственной литературе».

И раньше бывали попытки создания тенденциозного искусства, подчиненного религиозной или политической догме. Мы знаем немалое количество произведений, написанных на заданную тему, во славу святому престолу или трону. Католическое средневековье породило большое количество произведений, написанных с целью создания особого католического искусства с определенными агитационными целями. Но никогда еще ни одна власть в мире не задавалась безумной попыткой замены литературы целого народа, имеющего богатую и славную художественную традицию, искусственными плодами правительственных распоряжений и поощрений. На это отважилась только коммунистическая власть.

Средневековые алхимики искали философский камень путем химических соединений и надеялись из реторты вывести гомункулуса. Современные алхимики пролеткульта в своих поэтических лабораториях и коммунистических ретортах пытались образовать новое искусство. Для этой цели была создана соответственная среда и проведены административные меры. Власть не печатала «буржуазных писателей» и изымала их произведения из библиотек, сосредотачивая в то же время все издательское дело в своих руках. Теперь совершенно несо-

менно, что задачей этих первых лет коммунистической художественной политики было физическое уничтожение непролетарской литературы и ее представителей. Была провозглашена и начала проводиться «диктатура над литературой».

Теория пролетарской литературы покоилась на умозаключении по аналогии: подобно тому, как коммунистический строй заменил разрушенный революцией строй капиталистический, пролетарское искусство должно придти на смену искусству буржуазному. Конечно, этот вывод вытекал из простого силлогизма: всякая культура есть выражение определенного социально-экономического режима, вернее его надстройка. Режим у нас новый, **значит**, должна быть и новая культура, т. е. наука, литература, искусство. Старое разрушено до основания. белогвардейцы поставлены к стенке, **значит**, долой прежнюю литературу, выкидывай Рафаэля из музеев.

На практике творчество новой культуры, помимо мер запретительных и охранительных, обеспечивавших ее от конкуренции и тлетворного влияния буржуазного искусства, свелась к поощрению всех писателей пролетарского происхождения, а особенно тех из них, кто воспевал коммунизм.

В 1919-1920 г.г. было создано множество студий, групп, ассоциаций, всякие Ваппы и Маппы¹), Кузницы, Горны, Пролеткульты, и пр. Правительство щедро выдавало кредиты на всякие журналы или журнальчики, один из которых носил даже название «Твори». Но ни повелительные наклонения, ни золотой дождь субсидий не взрастили никаких цветов в коммунистических оранжереях.

Теперь можно определенно сказать, что диктатура над литературой кончилась таким же крахом, что и военный коммунизм. Никакой особой пролетарской литературы, не только что в виде нового явления культуры, но даже свежего направления в искусстве, советская власть создать не сумела. Ей самой пришлось в этом признаться: уж чересчур жалкие плоды выросли из ее обильного посева, чересчур ничтожными, а порой и неожиданными оказались результаты всех ее стараний, запрещений, наград, всех этих кредитов и партийных конференций,

¹) Всероссийская и Московская Ассоциация Пролетарских Писателей.

на которых вопросы литературной политики обсуждались с не меньшей страстностью, чем проблемы войны и мира и где по поводу «резолуций цека по литературному фронту» скрещивали шпаги Ленин и Зиновьев, Троцкий и Бухарин.

Самым лучшим доказательством провала пролетарской литературы является два факта. С одной стороны, коммунисты должны были «разрешить» не пролетарскую литературу, избреть термин «попутчиков» и с грустью наблюдая, как все русское художество представлено именно попутчиками. С другой, внутри самой коммунистической партии произошел сдвиг: огромное большинство ее отказалось от мечты немедленного создания «пролетарской культуры» и согласилось с лозунгами Троцкого: «не разрушение старой культуры, а критическое овладение ею».

Резолюция Ц.К. РКП, принятая весной 1925 г. знаменовала собою окончательную победу умеренного крыла (Троцкий, Воронский, отчасти Луначарский). «Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию». «Партия должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследию, а равно и к специалистам художественного слова... должна также бороться против попыток чисто оранжерейной «пролетарской литературы».

Только группа «На посту» во главе с Лелевичем и Вардиным еще продолжает мечтать о монополии на художественное творчество, да «Новый Леф» громит «белогвардейство в литературе». Но эти представители коммунистического максимализма в искусстве пребывают в печальном одиночестве.

Многочисленные поэты и немногочисленные прозаики, которые благодаря своему происхождению, прикосновенности к пролетарским студиям или тенденциям творчества были возведены в ранг действительных пролетарских писателей, не создали никакого особого направления или школы.

Одни из них, как Ляшко или Бессалько, второстепенные беллетристы дореволюционного типа, из «выучеников» Горького и Муйжеля. Другие, как Гладков — типичные бытовики с коммунистической идейкой, порою талантливые, как Фурманов, порою бездарные, как Тверяк с его скучным романом «Трак-

тор». Большинство же пролетарских прозаиков безнадежно тяготеет к 60-ым годам прошлого столетия, обнаруживая полную художественную беспомощность, а в лучшем случае умение повторять в области формы давно забытые азы. В этом отношении, с чисто формальной стороны, «пролетарская литература» часто кажется досадным анахронизмом и знаменует скорее шаг назад в общем ходе литературного развития, а уж никак не новое коммунистическое откровение. Один из пролеткритиков, Кривцов, даже возмущался, что несмотря на обещание построить новый мир, пролетхудожники — рабы прошлого. «Нельзя же в новый мир тащить старую ветошь».

Немного меньше ветоши оказалось у поэтов, но опять таки то, что должно было быть типично пролетарским, оказалось художественно несуществующим, а все поэтически приемлимое — не пролетарским. **В. Александровский** проявил себя лириком имажинистического толка с довольно безвкусными образами («мне не вычерпать ведрами глаз из души твоей солнечной влаги»...) **С. Обрадович**, на которого в Пролеткульте возлагали надежды, потому что он воспевал «толпокипящий Петроград» и «синеглазого властелина, диктующего огненный Декрет», научившись поэтической грамоте, ударился в тщательное подражание Блоку. **С. Кириллов** с его революционным романтизмом, тусклый **Герасимов**, пустоцвет **Г. Санников** — они — очень маленькие поэты, которые в начале революции охваченные ее пафосом, отдали дань революционному романтизму, ошибочно принятому за «новую поэзию», а затем отказались даже и от него и заняли свои скромные места в аррьергарде литературной армии.

В эпоху гражданской войны и всеобщего литературного безмолвия было легко принять триподнятость тона, романтическую фразеологию и поэтические переложения агитационных передовиц за пролетарскую поэзию. Но какими жалкими кажутся теперь эти «космически революционные образы» **С. Родова** («То неба грань плечем ломая, Вобрав стремительность миллионов тел, Рабочий строй, все переменяя, Шагнул в иных миров предел») или кровожадные призыва поэта «Кузницы» — **Дорогойченко**, которые привожу ради курьеза:

О, многих поставим к стенке,
Суд будет краток, беспощаден для гадн.

Восславим политику тигрову.
 Ломай, кувыркай, крути.
 Не по одной и не по две.
 Ядовитую сволочь к стенке.
 В Крематорий бывших волков двуногих!
 Будь беспощадным и грубым.

Очень часто говорят, что все же была некая польза от попыток создания пролетарской литературы. В рабочих и крестьянах де пробудили любовь к поэзии и литературе, вывели на свет божий самородков, принесли чисто народную струю в литературу. Может быть есть в этом и доля правды. но нельзя тогда забывать и вреда, причиненного сотням несчастных людей, возомнивших себя поэтами и отравленных на всю жизнь, потому что с ними носились, оказывали всяческий почет и печатали все их вирши. Поэтов нельзя высиживать в художественных инкубаторах, и те из пролетарских писателей, которые оказались талантливый, не создали, повторяю, собственного направления, а вошли в общее русло литературы. Таковы Неверов, Фурманов, Асеев и несколько других, менее заметных писателей. Но о них приходится говорить при рассмотрении тех изменений, которые за эти годы произошли в русском искусстве, а не в искусственном его подобии.

Пролетарской литературы не существует. Есть только русская литература.

4

Русская литература в эпоху революции продолжала то свое внутреннее развитие, которое началось еще до войны и которое в грубых чертах для поэзии определялось, как реакция против символизма. Именно за это десятилетие начал складываться тот стиль, та новая школа русского слова, которую иные называют нео-реализмом, иные неуклюжим именем «реалистического романтизма». Во всяком случае, эта новая школа существует, и тенденции ее становятся все резче и определеннее.

Любопытно, что одному из крупнейших символистов и самому большому поэту нашего времени было суждено не только завершить целую литературную и историческую эпоху, но и начать новую, встать на переломе, не толь-

ко не принадлежа прошлому, но и открывая будущее. Блок представляет собой мост между литературой старой и новой России. Вождь молодой поэзии, чудесный лирик, выразивший в своих стихах думы и страсти целого поколения, Блок, всегда предчувствовал революцию. Естественными, а не случайными явились в его творчестве «Скифы» и «Двенадцать», это самое замечательное художественное произведение последнего десятилетия. Они не только выражали то мессианистическое направление Блоковской поэзии, то революционное народничество, которое корнями своими уходило к славянофилам и Герцену и которое соответствовало первому, патетическому периоду русской революции. Они намечали и другое: тяготение к эпике, к революционному размаху, «народности» в литературе и, наконец, тому соединению беспощадного реалистического описания с порывом мистического, почти религиозного пафоса, которым отмечена вся почти послеблоковская литература.

Блок — символист, был всегда одарен «двойным зрением». Он видит и заносит в свою поэму кровавый разгул, грязь и буйство, преступника Петьку («ножичком полоснуть, полоснуть») и пьяных красноармейцев, он дает описание Петрограда в дни Учредительного Собрания — и за всей этой метельной и кровавой нелепицей, революции, его взору утописта и мечтателя предстает не богохульная, а богоносная, не разбойничья, а Христовая Русь, и в гиканьи разгрома, в бесновании гражданской войны слышит он «незабываемый напев века».

Он первый передал его в разорванных ритмах «Двенадцати», первый **изобразил** революцию, показал, что быт пришел в движение — и что это движение — под'ема.

Я не говорю о тех, чисто формальных моментах, которые бродили и прорывались и у Блока и у других его современников, но только в «Двенадцати» были освящены подлинным художественным достижением: соединение литературного языка с чисто народным, использование частушек и песен, драматизация стиха — переход от лирики к эпике, к симфонической поэме и т. д.

Мистический мессианизм Блока, его вера в революцию, тот высокий **пафос**, которым проникнуты под'емные строфы «Двенадцати», **несмотря** на ужас и грубость бушующей стихии

— соответствовали первому периоду революции — эпохе надежд, героизма, взлета.

Многочисленные подражания «Двенадцати» шли в полосу этого революционно-религиозного мессианизма — но как далеки от своего прообраза «Христос Воскресе» А. Белого, «Июния» С. Есенина и все те лирические произведения, которые образуют целую главу революционной поэзии.

Голос Блока прозвучал в момент крушения и жесточайшей распри. В худшие времена, при вынужденном безмолвии, читали мы «Двенадцать» и предсмертные стихи поэта. Они наложили свою печать на всю последующую поэзию. Под знаком Блока до сих пор еще движется поэтический поток, и даже там, где он как будто совсем освободился от его власти, находишь следы и отзвуки блоковского влияния.

Но в то же время молодое поколение отошло от блоковской символики и воздушности, решительно повернуло к экспрессионизму, к обновлению поэтического словаря и к «мажору» в поэзии. Оно резко и настойчиво подчеркнуло те элементы, которые были только намечены в «Двенадцати».

Обновление поэтического словаря и выход в «тираж» образов и сравнений определенной школы или эпохи, происходит периодически. Они совершенно неизбежны, и нечего плакаться поэтому по поводу чудачеств или кажущихся нелепостей современной поэзии. Идет нарожение нового поэтического стиля — языка, приемов, образов, сравнений — меняется весь метод построения поэтических произведений, и в этом основная разница между настоящим и до революционным прошлым русской поэзии.

Быть может сила влияния Маяковского, несмотря на его духовную скудость, тем и объясняется, что он в значительной мере выразил ряд чисто формальных тенденций эпохи.

Маяковский интересен только силой и тембром своего голоса, а не тем, что он кричит в своих стихах. После «Облака в штанах» и «Войны и Мира» он не создал ничего идейно глубокого и значительного. Воин без знамени, он с легкостью пошел за теми лозунгами, которые выбросила большевицкая революция — потому что были ему любы ее смятение и размах. Певец грубой силы, толп и событий, Маяковский утвердился в русской поэзии на те годы, когда в разгаре борьбы понадоби-

лись поэты, которые могли бы призывать в бой и воспевать победы. Он захотел стать бардом революции, ее громогласным трубачем. Маяковский выполнил определенный социальный заказ, конечно совершая это вполне искренно и убежденно. Но призывая выбросить за борт всю литературу XIX века, он свой собственный поэтический корабль направил по волнам политической тенденциозности. Что такое все его поэмы и стихотворения, как не фельетоны на злобы дня, то едко высмеивающие «врагов» империалистов, то перелагающие в ритм юротких строчек столь же короткие истины политграмоты. В лучшем случае — это «Мистерия Буфф», в которой счастливое будущее человечества изображено в ресторанном виде (сдобные булки на деревьях и изобилие жаренных гусей в грядущем коммунистическом государстве) или же поэма «150 миллионов», изображающая завоевание Европы и Америки миллионами Иванов.

У Маяковского полное несоответствие между изобразительным талантом и «нутром». Он — большая сила — да она как то впустую. Он великолепно изображает — но нет у него ни собственных идей, ни собственного внутреннего мира. Жалко, что на преподнесение копеечной (не своей) философии тратит он всю мощь своих мускулов.

Зычен голос Маяковского. Он любит площадь, торжище, подмостки, многоголовую толпу. Он хочет говорить с толпой — наивно грубым языком, в котором шутка раешника сменяется гиперболой, от нее можно только рот разинуть. «Он взывает к вещному, к материальному, он хочет поразить воображение количеством, весом, объемом. Его основной прием — гипербола. Конечно, у Вильсона цилиндр вышиною в Эйфелеву башню, в Чикаго 12 тысяч улиц, Иванов 150 миллионов. Он обладает чувством юмора и иронии, но его шутка рассчитана на грохот полупьяных глоток, она всегда примитивна, как вся его поэтическая прокламация: «мне бублик, а тебе дырка от бублика, вот тебе и демократическая республика», говорит интеллигент рабочему в «Мистерии Буфф».

Однако Маяковский поэт, а не Демьян Бедный. В нем исключительные качества экспрессии и гибкости. Его слово — ударно, полновесно, оно по плакатному выразительно. Маяковский безцеремонно ввел в поэзию словарь улиц и газет и по-

казал, что и это — поэтический материал. Он сумел придать обыденной речи звучный и захлестывающий ритм, тот боевой мажорный тон, который придает его поэзии, несмотря на все ее недостатки, бодрую крепость и остроту.

Мне кажется, что влияние Маяковского на молодую поэзию больше, чем сам Маяковский. Он не только создал свою школу (начиная от талантливого **Асеева**, кончая **Безыменским**), не только определил судьбы футуризма и отчасти имажинизма (**Шершеневич**, **Кусиков**, **Мариенгоф**), но и заставил десятки поэтов, органически от него далеких, воспользоваться ритмом, приемами и поэтическим своеобразием его «вольного стиха».

Между прочим, любопытно было бы сравнить влияние Маяковского со следом, оставленным в революционной поэзии **Гумилевым**, этим страстным борцом против символизма, одним из лучших представителей строго формального подхода к стиху. Гумилев — этот поэт мужественности, в душе которого «победа, слава, подвиг», звучали, «как трубы медные, как голос Господа в пустыне», был предтечей целого направления. В стихотворениях пролетарских писателей, у какогонибудь Гастева или Казина, легко найти отзвуки героической романтики Гумилева, а некоторые строфы Тихонова («над зеленою гимнастеркой желтых пуговиц литые львы» и т. д.) сильно напоминают мужественную сжатость гумилевских пэонов.

Если Маяковский в известной мере соответствовал динамическому и самоуверенному периоду большевицкого самоутверждения, то **Есенин** явился певцом ее надлома, ее противоречий. Неудачник в жизни, он пришелся не ко двору своему веку. Ему выпала на долю тяжелая судьба — быть чистым лириком, склонным к элегии и жаждающим идиллии, в годы трагедий и од. В эпическую эпоху огромных сдвигов, безумных событий, страшного растрачивания жизни и энергии, тосковал он по мирным закатам, тишине полей и кротости безмятежности. Он пел обо всем том, что является стихией лирики — в дни, когда лирическое казалось растоптанным. В этом тайна его обаяния и его трагедии. Его любили и любят за нежность, за человечески близкое, за грустные песни об утраченном «буйстве глаз и половодье чувств», за воспоминание о природе и молодости. Но сам то он хотел быть с веком наравне, он тщился стать то «хулиганом» и разбойником,

то читателем «Капитала». Поэт раскола и разрыва, не мог он все же принять «железного века», царства города и машины, как ему казалось. Он не мог ужиться в мире идейного приказа, рационализации, **безмузыкальности**. Он места не нашел себе, потому и оборвалась так рано его песня.

Самое слабое в творчестве Есенина — те произведения, в которых он пытался вступить в хор, определить себя в революции, найти место своей поэзии в революционном потоке. И самое лучшее — лирика любви, природы и личной тоски. В ней с наибольшей силой раскрылась певучая стихия Есенинского дара, так неразрывно связанная с народной песенной традицией. Не только по происхождению был крестьянином Есенин: в свою поэзию принес он и народные образы, и лад деревенских песен, и своеобразную прелесть наивной чувствительности. Конечно, есть у него и литературные предтечи — и не только к Кольцову, но и к Жуковскому восходят истоки есенинских элегий. Несмотря на всю непосредственность своего творчества, Есенин послушно шел по пути тех формальных изысканий, которые столь типичны для современной русской поэзии.

И Маяковский, и Есенин (а еще раньше Гумилев) усиленно работают над поэтическим материалом, над словом, подобно десяткам других, менее крупных поэтов. Все революционное десятилетие движется под этим знаком искания новых словесных форм и приемов поэтического выражения.

Обновление поэтического языка, о котором я говорил выше, сопровождалось огромной работой теоретического и художественного порядка. Ряд явлений, вызвавших лишь смех или недоумение в широких кругах читателей и даже критики, определялся в сущности глубокими причинами. Футуризм или имажинизм явились скорее болезнью роста, чем органическими пороками. Они оказались непрочными и недолговечными, потому что не сумели разрешить кризиса поэтической формы: но они пришли, потому что этот кризис существовал и даже изживался на некоторых общих с ними путях. Маяковский вульгаризировал и упростил то, что в тишине проделал мало кому известный, косноязычный **В. Хлебников**.

Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности **слова**, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и обра-

зам, взамен игры звучаниями и туманными понятиями, — эти черты новой поэзии особенно выступают в творчестве наиболее ярких ее представителей — **Пастернака, Цветаевой и Тихонова**. Правда, о них труднее говорить, чем о совершенно законченном, занимающемся самоповторением, Маяковском или умершем Есенине. Они живут и развиваются. Но они определенно тяготеют к «творческому ремеслу», к усиленной и изощренной работе над словом и стихом. Отсюда и новизна их приемов, словообразований и размеров.

Телеграфическая сжатость стиха достигла особенной силы у Пастернака и Цветаевой. Я больше всего ценю лирические произведения **Пастернака**. В них — своеобразное перемещение плоскостей, делающее их понимание столь трудным для поверхностного читателя. У Пастернака свое «ощущение мира», которое он передает, опуская всякие поэтические подстрочные примечания. Каждый вызываемый им образ принимает в его стихах совершенно реальную форму, а быстрота их чередования дает впечатление кинематографической одновременности: мы разом воспринимаем несколько сторон явления, несколько аспектов неустанного потока действительности.

Пастернак ощутил тяготение нашей эпохи к эпике, и пытался создать большие исторические поэмы: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт». Они ему не удалось и только в отдельных местах вновь с радостью находишь прекрасные образцы мастерской и глубокой пастернаковской лирики.

Цветаева, наоборот, выросла в поэта «большого стиля». Патетическому, приподнятому тону ее поэзии гораздо более пристала форма поэмы, чем лирического стихотворения. «Поэма горы», «Поэма конца», «Молодец», «Разлука» — лучшее, что она написала за последние годы. Эмоциональная окрашенность ее стиха, его романтический порыв и динамика составляют контраст к его словесной лаконичности и «ударности». Большое мастерство чисто формального рода, искусство поразительной словесной игры, которую так любит Цветаева, не отняли, однако, у ее поэзии ни ее идейной глубины, ни всего ее чисто идеалистического и мятежного характера.

Пафос и движение цветаевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия. Та реакция против символиз-

ма, которая наметилась в нашей литературе еще до войны, дала очень своеобразные результаты потому, что завершилась она в период революции. Поэтру уклон от символической туманности — к определенности, от многословия — к сжатости, от музыкальности — к выразительности, от расплывчатости — к полновесному построению, от риторики книжной — к почти разговорному языку, — сопровождался еще и некоторыми иными чертами. Вместе с драматизацией стиха пришла и большая эмоциональная его напряженность; динамике языковой соответствует внутреннее движение, полнокровность и почти романтическая страстность поэзии. И в то же время, начиная от Блока, кончая Тихоновым с его великолепной балладой о Махно, в литературу входит широкая национально-народная струя.

Все это и есть отличия той новой поэтической школы, которая народилась за последние годы. К ней примыкает почти все, что есть живого в русской поэзии. Она то и представляет собою ныне русскую поэзию — при молчании старого поколения символистов (**Вяч. Иванов, Сологуб, А. Белый**) и при большем или меньшем приближении к ней отдельных талантливых поэтов, начиная от эпиграмматической **Ахматовой** и национально-романтического **Волошина**, и кончая классически величавым **Мандельштамом** и умственно-изошренным, холодным **Ходасевичем**.

Марк Слоним

ПУТИ XX ВЕКА^{*)}

ЭРА АВТОМАТИЗМА

Целестремления людей развиваются только постепенно и очень медленно. Первообытный человек, хотя он часто бывает силен и ловок, часто обладает острыми органами чувств, энергией, смелостью, даже отчасти умом, терпением и настойчивостью, но как целестремящий аппарат он представляется слабым, неразвитым, зачаточным. У него чувство преобладает над разумом, цели его мелки и случайны, очень слабо осознаны и согласованы, целестремительность не выработана, не дисциплинирована, целесообразность и изобретение средств для целей, — наивны, примитивны, слабо результатны.

В связи с этим первообытное общество характеризуется косностью, **повторяемостью** его процессов. В каждом явлении есть элементы повторности и изменчивости, но в разных явлениях могут сильно преобладать либо первые, либо вторые. И вот, в то время, как на высоких ступенях целевого развития, когда высоко развито сознание целей и изобретение средств, преобладает в действиях людей и в их общениях изменчивость, на низких ступенях, при слабости творчества, слабы и изменения, и господствует повторяемость.

Первообытный человек, если и изменчив, то, так сказать, **случайно и пассивно**: в общении с природой, особенно в охотничьем быте, он должен волей неволей, приспособляясь к ее явлениям и изменениям, напр., охотясь за животными, и сам быть подвижным, изменчивым. Но собственной **инициативы, активной изменчивости** у него очень мало, напротив в его жизни, в его социальных общениях господствуют два тяжелых процесса повторяемости: **привычка и подражание**.

Привычка есть привязанность к существующему, стремление к легчайшему, ибо уже преодаленному, есть освящение

1) См. ном. 8 — 9 «Воли России».

лени и инерции, в ней достигнутые целесообразности, или кажущиеся таковыми, принимаются за образец, за идеал. В «патриархальном» обществе, живущем «традициями», привычки-обычаи священны, идеал отнесен к прошлому, и именно его повторение, т. е. именно повторяемость возведена в идеал. Привычка есть подражание себе самому или своим предкам, и она неразрывно слита с прямым подражанием, т. е. повторением действий и переживаний других. И если это повторение других, это «обезъяничание», вместе с привычкой, сохраняет чрезвычайную силу и сейчас, то в первобытном обществе оно прямо царит, им это общество характеризуется.

Таким образом, «первобытное» общество с целевой точки зрения есть именно царство автоматизма. Изменяемость, свободное инициативное целетворчество в нем дремлет, или едва просыпается, царит же гипноз повторяемости, — самоповторения или взаимоповторения, — нередко доходящий до прямого социального гипноза. Это общество движется, но не сознательно и своевольно, а как бы в полутьме и в полусне, как бы именно автоматически.

Но все-таки оно движется, все-таки уже в эти сотни тысяч лет социального автоматизма пройдена великая социальная трансформация и эволюция и сделаны первые труднейшие подходы к прогрессу. Как это получилось, в чем состояло это движение? В этом движении была минимальная роль целей-сил, как прямых двигателей изменений и преобразований: главную роль играл естественный социальный целевой отбор.

Подобно тому, как в мире биологическом естественный отбор ведет к выживанию наиболее приспособленных к среде организмов, так и всевозможные возникающие первоначально чуть заметные социально-целевые приспособления делали данные социальные ячейки более сильными в борьбе за существование. И вместе с ними они удерживались, закреплялись и, постепенно накапливаясь и развиваясь, вели хотя и бесконечно медленным червеобразным ходом, к образованию все более сложных и все более целесообразных социальных формаций. Таким образом, первичное общество автоматического типа и двигалось автоматически. И так — автоматически же — человечество выходило и из самого автоматизма в высшие фазы прогресса.

В этот первичный период и самые целедостижения были низшего типа. Тут, конечно, не могло быть прямого приспособления к высшим обобщенным целям — идеалам, — которое развивается лишь в эру автономизма, — тут мало было еще даже и активного прямого приспособления к отдельным целям, — что характеризует эру авторитаризма: тут шло по преимуществу еще только полу-животное приспособление к усло-

виям среды, вместе только с частичными и слабыми приспособлениями к своим целям. В этот период утверждалась и укреплялась по преимуществу простая **жизнеспособность** человеческого общества, а в недрах его копились и медленно зрели семена позднейшей **целеспособности и твореспособности**.

Темп социально-целевого развития в первичную эру автоматизма был медленный и ритм его ровный — еще близкий к растительным, органическим процессам. Тянулась медлительная эволюция. Напряжений, порывов, революций в собственном смысле еще не могло быть. Их место занимали войны, переселения, эпидемии, катастрофы, связанные с историей земли и т. д. Жизнь человечества текла как безмерный поток, извилисто пробивающий пути, иногда разливающийся и застаивающийся в болотах, иногда даже как бы пропадающий в песках. Великий, величественный смысл этого нового периода истории человечества был в том, что оно, подобно коралловому острову, вырастающему из моря, поднималось над природой, возвышалось в особый над-природный мир, на котором потом стали возноситься все высшие и все более свободные здания целестремительного творчества.

16. ЭРА АВТОРИТАРИЗМА.

Общество авторитарного типа получает с финалистической точки зрения точное и законченно определенное: это общество **сильно-целевое, но чуже-целевое, т. е. такое, где цели одних людей господствуют над целями других**, или где об'ективирующиеся идеологии и социальные организации поглощают целестремления живых людей. Люди и людские группы — **разносильны**: сильнейшие и подчиняют своим целям слабейших цели людей и групп плохо осознаются, слабо отстаиваются и теряются во впитывающих их грозных социальных организациях. Целестремления и целесообразности в авторитарную эру начинают развиваться энергичнее но ценою рокового раздвоения: целестремления об'ективируются, отделяются от живых людей, от суб'ектов целей, оказываются **сверху люди-цели, внизу — люди-средства**.

Понятна логическая закономерность такого поворота целестремлящего потока. При слабости первичных целесообразностей естественно возникает изобретение: **обратить самого человека — другого человека, — в средство для своих целей**, ибо в человеке больше целесообразностей, чем в домашних животных, или в первобытных орудиях. Люди и группы наибольшей силы, с наименьшим скоплением целесообразностей и употребляют других людей как средства для своих целей. И это

их еще более усиливает, еще более обогащает целедостижениями — «ценностями», «благами», — а тем самым и эти авторитарные организации еще более крепнут и развиваются.

Узлы авторитаризма завязываются уже в эру автоматизма и даже возникают прямо из него — из «мало-целия» тогдашних людей. Старший в роде, самый сильный воин, или ловкий охотник, человек даровитый, знающий, — знахарь, колдун, — становятся во главе «стада». Из них исходит гипноз, они обращают привычку и подражание слабейших в повинование, перерождают целевой автоматизм и авторитаризм. Распри и войны, грабеж и рабство все усиливают эти авторитарно-автоматические социальные узлы.

Постепенное развитие земледелия, употребление металлов, зачатки техники и индустрии, разрастание родов в племена, сгущение населения и образование более крупных поселений, развитие духовной культуры, религии, — все это мало по малу расширяет, углубляет и укрепляет авторитарные целеотношения. На рабстве воздвигаются хозяйственные плутократии. Зачатки государств увенчиваются автократами политическими.. В религиях — складываются великие теократии. На плоской полу-жидкой тестообразной массой автоматических общений наслаиваются и отвердевают все новые пласты автократизма. И, наконец, вырастает и отверждается, сплетается и сковывается обширная социальная пирамида авторитарного общества.

Общество авторитарное представляет огромные целедостижения по сравнению с обществом автоматическим.

В нем совершается уже не простое только развитие жизнеспособности, но проходит огромное расстояние развитие целеспособности. В нем совершается не только пассивное приспособление к условиям природы, но мощно развивается активное приспособление самой природы к целям человека. Если в эру автоматизма перед нами еще только как бы некая социальная икра, кишашая мириадами зачаточных целестремлений, то в эру авторитарную эти целестремления вырастают в организмы, полные энергии, быстро крепнущие, сильно борющиеся и все успешнее достигающие целей.

В авторитарном обществе все быстрее достигалось, — с жертвоприношениями и страданиями множества людей, — основное условие целесообразности: соединение и разделение целестремлений. В нем совершился переход от мелких, коротких и простых целестремлений и целесообразностей к крупным, сложным, далеким. Человеческое общество разрослось из сотен индивидов в тысячи, затем в миллионы. Наконец, огромные государства возросли до сотен миллионов людей, стремясь охватить все человечество. Вместе с этими скоплениями людей

скоплялись и средства для целей, образовывались центры культуры.

И в этих очагах целестремительного творчества слагались специализации в науках, индустриях и искусствах, и из сосредоточений и скрещений знаний и идей рождались великие открытия и изобретения. Человечество истребляло одни виды растений и животных и разводило другие, оно покрыло землю дорогами, каналами, городами, изменило лицо земли, заставило служить себе природу. В эру авторитарную искусственная социальная среда окончательно отслаивается от естественной, природной и воцаряется над нею.

Вместе с этим глубоко изменяется и самый характер целевого прогресса: рядом с «естественным» отбором целестремлений мощно развивается **«искусственный социальный отбор»**. Он устанавливается по преимуществу **насильственно** авторитарными государствами, хозяйствами, религиями. Ими одни системы целей и целесообразностей вводятся и утверждаются, другие отменяются или подавляются. Этим — рядом с жертвами и ошибками — совершались и великие целестремления. В этом уже было зачатие процессов **целесознательного, организованного активного прогресса человечества**, но только проводимого не свободно «своецельно» всем человечеством, а «чуже-цельно» и **насильственно** выплывавшими на верх социальной пирамиды гегемонами.

В авторитарный период социально-целевое развитие шло **ускоренным и все ускоряющимся темпом и вместе с тем порывистым и обрывистым, катастрофальным и революционным ритмом**. Сгущения целестремлений и целесообразностей выработали в авторитарном обществе твердый социальный скелет, обратили его в некий социальный организм, совершающий все более мощные и быстрые движения. Но рядом с великими достижениями **соединения и разделения целестремлений**, эта специализация, элементаризация толкает общество в тупики, в катастрофы. Отдельные целестремления личностей стекаются в отдельные струи, сцепляются в отдельные организации, которые скопляют в себе огромные силы, объективируются от живых людей и страстно и слепо сталкиваются между собой. Элементарные, специализовавшиеся целестремления племен, государств, классов, религий, рас, культур раздирают общество в разные стороны, потрясают социальный организм борениями его собственных органов, — войнами и революциями.

Общий смысл эры авторитаризма ярко и глубоко выражен в сказании о «вавилонском столпотворении». Ее целестремления огромны, она громоздила громады на громады, строя безмерную социальную пирамиду, но строила ее из **людей-средств**, а эти живые камни были неустойчивы, разноязычие — **«раз-**

ноцелие» — все рушило и рушило пирамиду. И вместо законченного здания нагромождался лишь хаотический пьедестал из частных целесообразностей для будущего связного, стройного и свободного здания автономизма.

17. ЭРА АВТОНОМИЗМА

В эру автономизма человечество еще только вступает. Какова именно она будет в своем развитии и завершении, мы не знаем. Но мы можем уже разглядеть ее первые очертания, ибо элементы автономизма копились и зрели во всю историю человечества, и общество автономическое уже заложено, уже строится на наших глазах и при нашем — сознательном, или бессознательном — участии.

Развитие автономизма составляло одну из закономерностей исторического процесса. Мириады его зародышей, его семян заключены во всех вообще целевых актах, как силах человеческой деятельности, человеческого творчества. И эти семена разрастаются в автономическое общество, образуют мир автономизма тогда, когда целестремления всех людей достигают наибольшего согласования и тем самым наибольшей свободы и наибольшего целедостижения. В обществе автономическом совершается преодоление автоматизма, — вместо темных, слабых и мелких целестремлений достигается сознательное полноцелие, — и преодоление авторитаризма, — вместо чуже-целия воцаряется свое-целие. Это мы и понимаем под носящемся ныне в воздухе словом «самоопределение», это я и обозначаю словом «автономизм».

Автономизму свойствен свой тип приспособления, свой тип социального отбора. Самовольное целетворчество обозначает уже не простую жизнеспособность и не пассивное приспособление к условиям, — как в автоматизме, — и не частную целеспособность, не частное активное целеприспособление, — как в авторитаризме: оно означает полную творческую способность и всеобщее активное взаимодействие всех целей, всех средств и всех условий. Самовольное целетворчество предполагает уже не естественный отбор целестремлений и целесообразностей, — как автоматизм, — и не насильственный искусственный целевой отбор, — как авторитаризм: оно предполагает свободный самопроизвольный искусственный целевой отбор.

В автономизме преодолевается и косная «стихийная» случайность автоматизма, и объективирование целестремлений в пожирающие живых людей социальные чудовища, — теократии, деспотии, плутократии, — как в авторитаризме. В нем достигается «суб'ективизация», «гуманизация» общества: все жи-

вые люди перестают быть средствами, а становятся самоцелями и взаимоцелями, и вся общественная жизнь движется под лозунгом самоопределения: «мы сами». Поэтому и темп движения автономизма быстрый и ритм его — ровный: когда он овладевает обществом, он выводит его как из болотного застоя, из еле заметной эволюции автоматизма, так и из бурных порывов и зигзагов, из катастроф и революций, из акций и реакций авторитаризма, он вводит его в русло быстрой, но планомерной реформации.

Из сказанного очевидна мощь и величие автономизма. Но ясна и соответственная трудность его осуществления. Его построение пойдет ровно и быстро только тогда, когда он овладеет своими собственными путями, средствами, формами, методами. Но этот собственный путь состоит во **всечеловеческом согласовании всех целей, средств и условий**. Поставить прямо на него человечество могло бы лишь какое то сверхчеловеческое чудо. И вот первоначально автономизм должен был развиваться в чужих формах и чужими путями, и так он провлячился, — в зачатиях, в зародышах и в созреваниях, — долгий ряд тысячелетий.

В первобытной эре автоматизма уже развивались зародыши автономизма. Они являлись в индивидуальном свое-целии дикарей, поскольку в их быте проявляется начало «сам себе — слуга и хозяин» и в социальном свое-целии их семейных, родовых, хозяйственных и иных общений и организаций. И постепенно строение целестремлений качественно все повышалось: доля золота автономизма в кварце автоматизма из тысячной обращалась в сотую, и т. д. Автономизм рос и как прививка к разраставшимся мощным обществам авторитаризма: когда выросли государства и города, индустрии и религии, то в них рядом с отпадавшими зернами и шелухой чуже-целий повторялись, скоплялись и развивались и «своецелия» — **общепользные, общечеловеческие** целедостижения в технике, науке и в искусстве, в этике и в праве. И тут уже зрели и разрастались все более мощные клубы автономизма, как свободного всечеловеческого целестремления и целедостижения.

Постепенно — в последние тысячелетия — эти разрастания автономизма в автоматическом и в авторитарном обществе так усиливаются, что начинают их заметно преобразовать и начинают образовывать в них уже целые полосы, целые оазисы будущего автономического общества. Эти оазисы автономизма уже образовались в четырех социальных самоопределениях: **нации, класса, государства и культуры**.

Из семей и родов сложились племена и народности, широкие уже коллективы, живущие «своею жизнью», развивающие богатое творчество в языке, в быте, в духовной жизни

и проникнутые глубоко основным началом национального автономизма: своебытностью и своеволием по лозунгу: «мы сами».

Быт и труд охотника, рыболова, скотовода, земледельца, ремесленника выработали на протяжении долгого ряда тысячелетий такие общения, — личные, семейные, общинные, кооперативные, — которые основаны на своецелии и взаимощелии, на сознательном и добровольном согласовании хозяйственных целестремлений. В них поэтому уже живет сильною жизнью пассивный эволюционный экономический автономизм, готовый при первом ферменте критико-активизма развиться в автономизм активный, реформационный. Так было в России, так вероятно будет в Азии.

Автономизм в последние тысячелетия совершает все более широкие и прочные вторжения в главную твердыню автократии: в виде демократии он начинает завоевывать **государство**. Эти завоевания имеют глубочайшее значение, ибо в них отвердевает уже прямо **правовой, политический** скелет автономического общества. /

Наконец, высшая твердыня автономизма воздвиглась на вершинах духа: выростания и разростания научного познания, критической мысли, нравственных идеалов создавали все более автономную жизнь духа, строили в людях внутреннее неуязвимое и несокрушимое царство автономизма. С утверждением свободо-мыслия, критико-активизма этот духовный **культурный** автономизм осознан и признан в передовом человечестве высшим законом.

И из этих разростаний автономизма в разных целестремлениях и общениях слагались в религиях и общественных учениях уже все более ясные идеалы автономизма и стремились воплотиться в жизнь, овладеть всею жизнью, осуществить полностью царство автономизма.

18. ПУТИ XIX ВЕКА

В последние 5-6 веков различные течения автономизма вылились из социальной подпочвы бурными извержениями и в движениях Возрождения и Гуманизма, Реформации и Революции, покатались, как последовательные волны в существе единого и все ширящегося потока.

Сущность Возрождения состояла в том, что дух человеческий, тысячу лет костеневший в авторитарном автоматизме, снова проснулся и устремился к свободному творчеству, к критико-активизму, к креатизму. В Гуманизме совершилось возвращение от об'ективировавшихся обезличившихся социальных целеприспособлений, как чудовища давивших и пожиравших живых людей, к реальным суб'ектам истории, — к этим самым

живым людям, к их свободной жизнерадостной целестремительности. Реформация высвободила христианство, которое по существу своему было из всех религиозных движений быть может самым прямым порывом к автономизму, от оков автоматической догмы и папской теократии, и повернуло его к новым как никогда страстным и цельным исканиям полного человеческого самоопределения. Наконец, Революция сломила авторитарное государство и установила основы политического автономизма, построила новые демократии, доселе небывалые.

С Великой Французской Революции, с девятнадцатого века совершается новый исторический поворот: автономизм льется и разливается сразу в целом ряде элементов и областей социальной жизни. Окончательно воцаряется свободомыслие, «свободоцелие», утверждается в области духа режим критико-активизма. Расцвет креатизма в науке и технике освобождает человека от власти природы, снабжая его цели средствами огромной мощи, дает его целестремительности грандиозный размах. Рядом с этой **внешней технической автономизацией** начинается совершаться **автономизация внутренняя, социальная**: сооружается демократия в полумиллиардном «евр-американском» человечестве. В стенах демократий развертывается самоопределение — освобождение и объединение — народностей, утверждается национальный автономизм. В национальных демократиях являются мощные всходы и социально-экономического **автономизма: труд начинает свое самоопределение в кооперации**. И, наконец, над всеми целестремительными и все более сливающимися потоками автономизма возжигается в ряде социальных учений, как в путеводных звездах, и самое начертание его идеала.

Живя еще как бы внутри XIX века, болея еще его болями, кровью и грязью его рождений и смертей, мы еще не видим всей его мощи, всего его величия. Только оглянувшись назад на далекие тысячелетия застоя и блужданий, мы поймем стремительный темп девятнадцатого века и орлиный взлет его самоопределений.

Но это был именно век великих борений, век **автономизма революционного**. Лишь в отчаянных усилиях, лишь в борьбе обретал он пути свои, пробиваясь против враждебных ему сил и учреждений, автоматических и авторитарных. И в результате этого, во-первых, завоевания его не были еще прочны, во-вторых, они были частными, бессвязными, как и сами попытки доктрин автономизма, и в третьих, самый дух его еще не нашел самого себя, оставался болезненным и проникнутым чуждыми элементами.

Весь путь XIX века состоит из зигзагов: акций, революций автономизма и реакций, контрреволюций авторитарно-автоматического

тических. Всего полнее и прочнее были завоевания культурного автономизма, ибо тут лишь завершались великие победы критико-активизма над догматизмом всякого рода, одержанные уже в ряде веков, хотя и тут шла бурная смена настроений разных поколений, острая борьба «отцов и детей». Политическая же жизнь, как и социально-экономическая, пульсировала лихорадочными революционными акциями-реакциями, тоже связанными со сменой поколений и психологическими приливами и отливами, — каждые 10-15 лет. Таким образом, под'ем автономизма и падение автоматизма и авторитаризма совершались как бы волнообразным движением, в котором волны прогресса были в общем выше и длиннее, а волны реакции — ниже и короче.

В этой непрерывной борьбе за жизнь и за господство автономизм в 19 веке еще не успел найти самого себя, не успел так перегореть, чтобы выплавиться во всей чистоте; он остался еще в смеси с авторитаризмом и автоматизмом. Великие целесообразности техники автономизировали человека по отношению к природе, но автоматизировали его по отношению к самим созданным им автоматам-машинам, и это механизировало людей, придало их жизни горячечный темп, болезненное, нечеловеческое перенапряжение. Жесточая атмосфера борьбы сделала автономизм вместо позитивного негативным, недоразвила в нем творчество и любовь, переразвила борьбу и злобу: целестремления автономизирующихся групп поворачивались не столько для них, сколько против других, — развивалась, напр., не столько **нациофилия** или **классофилия**, сколько **нациофобия**, **классофобия**. И растущий автономизм, еще не сознав себя, своих средств, постоянно пытался бороться против своих врагов их же оружием, и тем самым, прививая себе железы отмирающих организмов, отравлял себя трупным ядом.

И со всем этим автономизм в 19 веке оставался разрозненным в разных элементах, и даже процессы специализации, элементаризации преобладали над интеграцией, ибо этот век шел от синтетизма к аналитизму. В каждой личности среди множества ее целестремлений есть главные, есть некоторый «это-центр», или «целе-центр» — или несколько целе-центров, и, согласно с этим одни личности устремляются и вкладываются в целе-стремления хозяйственные, классовые, другие — в государственные, политические или национальные, или религиозные и т. д. Вот эта «элементаризация» социальных целестремлений угрожающе переразвилась в 19 веке. Начал он с лозунга «свобода-равенство-братство», намечавшего хотя неопределенно, но обобщенно, интегрально идеал автономизма. А во второй его половине социальные «элементаризмы» замкнулись в себе, возвели в абсолют каждый свое: либерализм — государство, социализм — хозяйство, национализм — нацию и т. д. И каждый

из этих полу-слепых полу-прозревших автономизмов видел только в своем подходе, только со своей стороны вход в социальный рай, был слеп к другим и боролся, как за идола, как за фетиш, за свой, яко бы единственный «ключ» от этого рая.

Деятнадцатый век явил уже такие великие завоевания в отдельных самоопределениях, что отойдет в историю под знаком автономизма. Но он строился без плана, самоопределения его были бессвязны, он подражал еще в своих мятежных усилиях «вавилонским башням» авторитаризма. Это был скорее еще «век автономизмов», чем «век автономизма».

19. ПУТИ XX ВЕКА

Двадцатый век открылся совсем иначе, чем век девятнадцатый

Накануне 19 века прогремела в Великой Французской Революции блистательная его увертюра, раскрывшая, главным образом в демократии, в политическом автономизме, его руководящие мотивы, его «Слово». И сила этого вдохновенного целестремления была такова, что не сомневаясь в победе, автономизм ринулся против вековых твердынь автоматизма и авторитаризма и действительно наполнил 19 век своими победами над ними.

В начале 20 века происходит нечто прямо обратное. Он открылся не собственной увертюрой, не провозглашением новых целестремительных вдохновений, а — трагическим финалом 19 века—мировой войной. В ней получила развязку борьба всего 19 века. Она была попыткой грозной контр-революции, в ней силы авторитарно-автоматические, организованные феодальной и автократической, плутократической и империалистической Германией, пытались удержать и утвердить свою гегемонию против завершавшегося национально-демократического автономизма.

Эта контр-революция разбита, национальная демократия в основном завершена в Европе, четыре последних европейских автократии сметены с лица земли. Победа сил автономизма в войне была полная, и автономизму раскрыты торные пути. Но именно потому, что элементаризовавшийся в 19 веке автономизм не внес в эту борьбу и победу своего общего руководящего «Слова», движение медлит начаться. **Объективно** позиции автономизма в начале 20 века неизмеримо сильнее, чем в начале века 19, но **субъективное** его ослабление, отсутствие нового озарения, нового вдохновения связывает силы победителя. Пути ему открыты, но движение не начинается, ибо не проснулся еще внутренний двигатель.

Однако именно в мировой войне с полной ясностью вскрылись закономерности переживаемого исторического перелома и пути 20 века. Если еще не осознанный и не объединенный автономизм 19 века одержал уже такую огромную победу, то какие победы одержит он в 20 веке, осознавшись и объединившись. И именно в переломе, выразившемся в войне, выявились и задачи и пути автономизма 20 века. Прежде всего ему придется продолжить борьбу против сил авторитарно-автоматических. Затем он должен будет качественно повыситься, найти самого себя. И, наконец, ему предстоит перелиться из частичных полу-осознанных самоопределений в цельный полностью осознанный автономизм.

Силою судеб, прежде чем всецело обратиться к внутреннему творчеству и совершенствованию — именно для того, чтобы его обезличить, — автономизму предстоит завершить борьбу во вне против сил, ему грозящих насилием и гибелью. Автономизм должен прежде всего укрепиться политически, должен закончить, хотя бы вчерне, постройку своей крепости — демократии. Это требуется не только общею логикой целесообразностей и целедостижений, не только исторической связью явлений — вступлением, вслед за Евр-Америкой и Евр Азии в преддверие и в строение демократии. Это совершенно неотложно еще и потому, что только спешная достройка демократии спасет мировую культуру от разрушения новым военным пожаром.

Ясно, что сейчас не существует сил, способных предотвратить новую мировую войну, которая истребит уже не десятки, а сотни миллионов людей, разрушит уже не периферию, а центры культуры. Этого не может ни слепое кровавое насилие третьего интернационала, уже отмирающего, ни благонамеренное бессилие Лиги Наций, организации, еще лишь рождающейся, пока лишь формальной. Предупредит войну и вырвет раз на всегда ее жало только **великая реальная сила, кровно заинтересованная в мире.** Таковою явится только **мировая демократия, только демократия, как международный правопорядок.**

Ныне — чудовищным вихрем мировой войны демократия и мир связаны в единый нерасторжимый узел. Только всемирная демократия, скрепив в единое правовое здание полтора миллиарда людей, оперев его на миллиардную Евр-Азию, готовую силою раздавить зачинщика войны, утвердит мировой мир. И только **международная демократия, осененная миром,** есть выдвинутая историей форма строения демократии для **первой половины 20 века,** ибо разрозненным демократиям грозит смерть то войны. От мировой войны осталось автономизму два завещания: «**Демократический мир**» и «**Мир с Востока**». Автономизму двадцатого века предстоит закончить свой вооружен-

ный, воинствующий период крестовым походом всечеловеческой демократии против войны.

Но, как для других своих целей, так для этой первейшей задачи утверждения мирового демократического мира, автономизм 20 века нуждается в **немедленном внутреннем самоутверждении и самоусовершенствовании**. Он должен с одной стороны очищаться от чуждых примесей, углубляться, преображаться во все более подлинный автономизм. Ему предстоит, с другой стороны, **слияние, сплавление частных случайных и бессвязных самоопределений в поток планомерного, объединенного иосознанного автономизма**. И оба процесса тесно связаны. И это качественное повышение произойдет вместе с количественным расширением, именно в результате вызываемого последним скрещения множества разных целестремлений и целесообразностей и повышения целевого оплодотворения и торчества.

Предстоит преобразование **узкой, косвенной и остро борьбой** демократии 19 века, еще далекой от подлинного политического автономизма и переживающей глубокий кризис, в более прямое и действительное слияние государства с народом: предстоит заполнение государства реальной самодеятельностью народа. Это произойдет вместе со вступлением в демократию России — Китая — Индии, где народные массы веками воспитаны в **местном фактическом бытовом автономизме и пропитаны** духом прямого конкретного делового строительства. Тогда лозунг «мы сами» станет не вывеской государства, а государственным телом, тогда политика из злобной междуусобицы обратится в благотворную взаимность.

Социально-экономическая реформация построится вместо «**классофобии**» на «**классофилию**». Вместо междуусобицы внутри авторитарно-автоматического капиталистического строя выдвинется на первый план **строительство трудового строя сотрудничеством всех людей труда и таланта**. Борьба капиталистических и пролетарских **синдикатов за распределение** закончится **кооперацией** всех трудящихся, особенно крестьян, **организующей производство**. Со вступлением Евр-Азии социально-экономическая гегемония перейдет от буржуазии и пролетариата, классов наименее автономических, к интеллигенции и крестьянству, которые составят основные силы экономического автономизма. И разрушительная борьба в хозяйстве сменится планомерным созданием.

Предстоит смена «**нациофобии**» «**нациофилией**». Век 19 весь окрашен **ультра-национализмом**, созреванием и борьбой наций в западной Европе, которая перекаленная страстью, едва завершив автономизацию, переразвивались в авторитаризм — в милитаризм и империализм. 20 век, выдвинув сложно-нацио-

нальные и над-национальные громады, — Америку и Россию, Китай и Индию, славянский и иные союзы, — умерит и улучшит национальное чувство, повернет его от борьбы во вне к внутреннему сотрудничеству наций. И 20 век окрасится, умиротворив и связав отдельные враждующие нации в семьи сдруженных наций над-национальными и всечеловеческими целестремлениями.

Кроме сложения положительного, созидательного автономизма в расширенных и углубленных государственных, хозяйственных и национальных самоопределениях, 20 век развернет **новые великие культурные самоопределения**, только лишь зародившиеся в 19 веке.

Предстоит **самоопределение целой половины рода человеческого: женщин**. До сих пор развивался преимущественно автономизм одной половины человечества на основе неавтономности, авторитарно-автоматического положения другой. Женская «эмансипация» провозглашена и начата в 19 веке, но преимущественно формально и механически — в возможностях, данных женщинам самими же мужчинами. В 20 веке эти формы женского автономизма наполнятся широким реальным содержанием. Вслед за уже проснувшимся креативным меньшинством поднимется и вступит в социально-культурную жизнь и вся женская масса. И только этот великий прилив начнет активно «евгенику» — телесное и духовное усовершенствование человека. Только вместе с ним совершится автономизация и гуманизации семьи. Только он вообще откроет действительно «гуманизацию» человечества — создание многосторонней и гармонической личности.

Предстоит такая же **автономизация молодых поколений**. Они тоже остаются пока почти вне автономизма, ибо взрослые частью используют их, как . томатов труда, частью обращают в пассивных объектов авторитарного воспитания и образования. Право юношества на самоопределение уже превозглашено педагогикой 19 века, и их автономизация уже рождается (в таких начинаниях, как некоторые формы «скаутизма» и т. п.) Век двадцатый глубже поймет, что начинаемое им новое «Возрождение» и новый «Гуманизм» необходимое им новое творчество светлую струей «автономизма юности»

Наконец, величайший количественный и качественный подъем автономизма даст огромный **новый культурный прилив миллиардного восточного человечества**. Прежде всего, покончив с господством Евр-Америки над Евр-Азией, он вырвет из евр-американского автономизма этот его авторитарный элемент, эту внутреннюю растлевающую его неправду. Затем он волеет в общее русло автономизма новые — точнее сказать, старые,

но слишком хорошо забытые Западом, — истины: культуру самого человека преимущественно перед культурой вещей, органический «гуманизм» живой личности, вместо ее механизации и автоматизации, нравственное начало автономизма, «религию Добра», рядом с «религией Разума». Наконец, с новым самоопределением Востока в 20 веке получит начало последняя ступень автономизма: всемирный автономизм, новый всечеловеческий гуманизм.

Эти разливы автономизации в новые углубленные недра человечества, — в женскую и детскую, в отставшую азиатскую среду, — раскрывают глубочайший очаг творчества — семью. Автономизовать семью чрезвычайно трудно, ибо она в основе пропитана привычкой, подражанием, повинением, т. е. автоматизмом и авторитаризмом. Обращение этих элементов в средства, в технику и воцарение в семье свободы и любви потребуют веков душевного, нравственного перерождения людей. Но автономизм не может ни оставить косную против-автономическую семью, ни допустить начинающегося ее автоматического разложения. Чтобы жить, он должен не только строить скрепы общества, но и растить связи личностей. Он сам должен вырастать из этих личных связей людей, из притяжений, из скоплений любви, из любви притом не только семейной, кровной, но и духовной, — из тех углубленных «дружб» и личных «побратимств», без которых не вырастет и общественное братство. 20 век, конечно, не сможет разрешить огромную проблему семьи, но должен будет ее выдвинуть и вовлечь в общее русло автономизма.

Во всех этих расширениях и углублениях автономизм найдет самого себя. Отдельные его потоки войдут в общение. Он осознает общее свое существо, он прямо назовет себя. И так в 20 веке родится не только тело автономизма, как общего, связанного, цельного движения, но и общий дух его, его «Слово», которое озарит, вдохновит и объединит его творчество.

Девятнадцатый век оставил двадцатому великие силы автономизма в великих усилиях и метаниях, в воспаленном горячечном состоянии. Это не был еще собственно автономизм, т. е. автономизм в здоровом нормальном состоянии, это был «ультра-автономизм» — перенапряженный, перенакаленный в трениях и столкновениях борьбы против жестоких сил автоматизма-авторитаризма. Двадцатый век, завершив самую острую милитаризма, — сможет, наконец, перевести автономизм к норме, к нормализации, в русло мирного творчества.

В 19 веке человек автономизировался от природы, но его автоматизировала машина, он освободился от органической жизни и здоровья, продав свое тело и душу дьяволу — ме-

ханизму. 20 век должен освободить его и от этих адских обжигающих, иссушающих, обеспложивающих перенапряжений механики и вернуть к органическим темпам и ритмам, которых хочет «он сам», его дух и тело. В 20 веке человек автономизируется и от машины.

Автономизм в 19 веке был горячечным ультра-автономизмом еще потому, что был автономизмом ультра-индивидуалистическим. Формула «я сам» означает минимум целесовпадений и целесоглашений и значит максимум столкновений, трений, борьбы и разрушений. В 20 веке возобладает формула «мы сами», и обобщенные согласованные целестремления обезпечат минимум вредных трений, максимум результата, дадут здоровую «норму» и «оптиму» автономного творчества.

В специализованном, элементаризованном 19 веке и автономизм был раздроблен на частные, элементарные автономизмы. Провозглашались и увлекали людей отдельные самоопределения, — через нацию, или государство, или класс и т. д., — как единственные единоспасающие ключи от социального рая. И люди металась от одного такого целестремления и самоопределения к другому. И личность не осозновала всей полноты своих целестремлений, не согласовала их, не производила сама в себе внутреннего самоопределения, а слепо отзывалась то одной, то другой своей частицей на сменявшиеся в общественной борьбе национальные, классовые, государственные и иные лозунги. Так, немецкие пролетарии, уткнувшись, казалось в элементарный, узкий, классовый автономизм, вдруг бросились в войну под Вильгельмовскими знаменами элементарного, национального авторитаризма. Вихри сменявшихся целестремлений увлекали с собою, как пыль, не цельных людей, а частицы людей, распыленные элементы их энергий. Так строились социальные организации автономизма в то время, как личности оставались не автономными.

Двадцатый век начнет строить общественный автономизм, как единую, цельную систему, ибо обоснует его на **интегральном автономизме личности**. Провозгласив, вместо отдельных чудотворных идолопоклонных целестремлений, общий идеал автономизма, как такового, двадцатый век призовет личности к внутренней автономизации. Каждой личности предстоит осознать все свои целестремления, выбрать, согласно своим потребностям и способностям, главные цели, организовать свои «цели-центры», согласовать и связать их в цельную и стройную систему, построить свои «цели жизни», свои «планы жизни». Только такая охватившая и согласовавшая все свои целестремления **интегральная и гармоническая личность будет автономною личностью**. И только на такой автономной личности начнет строиться автономное общество.

Так, в 20 веке, вместо метаний от одной автономической революции к другой, вместо судорог реакций и контрреволюций автоматизма-авторитаризма, начнется мерная и мирная автономическая реформация. И так, социальная форма сольется с реформацией индивидуальной, с созданием автономной гамонической личности, с новым гуманизмом, как преобразованием живого творящего творчества.

20. СЛОВО XX ВЕКА

Остается досказать: каково же именно будет «Слово» XX века? Будет ли это прямо и полностью именно **Автономизм**? Или может быть XX век еще его «не вместит», а выставит какие либо частичные, элементаризованные его выражения? Ответ на это уже предопределен выше сказанным.

Ныне, после мировой войны, в которой прогрохотали грозные диссонансы 19 века, звучат и носятся в воздухе его старые и новые слова лозунги: демократизм, социализм, анархизм, синдикализм, кооператизм, большевизм, фашизм, национализм, пан-американизм, пан-европеизм, евразийство, интернационализм, атеизм, мистицизм и т. д. Может ли какое либо из этих слов — или какое либо новое, им подобное, слово — дать синтез, выразить дух XX века, как целого? Очевидно нет.

Некоторые из них, — как, напр., новейшие характерные для нашей утерявшей всякую способность обобщения эпохи, «большевизм» и «фашизм», — просто не заключают в себе никакого определенного исторического воззрения. Затем, как опять таки эти и такие слова, как пан-американизм, пан-европеизм, евразийство и т. п. — так сравнительно односторонни и элементарны, что не могут охватить ни широкой области социальных явлений, ни широкого в них течения, и остается даже неизвестным, выражают ли эти слова автономизм, или авторитаризм, автоматизм. И, наконец, некоторые из ходячих слов, — как анархизм, атеизм, — по существу негативны, выражают отрицание, разрушение, — государства ли, религии ли, — но не имеют позитивного содержания, не указывают, что же хотят поставить на место разрушаемого, для чего отрицают и разрушают. Тут выразился сразу и «ультра-автономизм», и, так сказать, «нело-автономизм», «псевдо-автономизм» 19 века: борьбовое острое самоутверждение без осознания целей и средств.

Конечно, некоторые из общеупотребительных слов 19 века, — как демократизм, либерализм, социализм, — имеют большое содержание, означают целые полосы социальных целестремлений и целедостижений нашего времени, и автономизм не

отрицает их и может в определенных случаях пользоваться ими, — но только как частными определениями.

Мы можем, напр, определить XIX век, как век демократии. Но это будет очень неполно, ибо рядом с автономизацией государств 19 век наполнен и окрашен самоопределением наций, затем он наиболее глубоко охарактеризован окончательной победой культурного автономизма — критико-активизма, и, наконец, рядом с этими великими победами автономизма, в нем равилась — в хозяйстве — огромная авторитарно-автоматическая сила — капитализм. Значит только с помощью прилагательных мы могли бы определить 19 век, как век национальной буржуазной демократии. Но все-таки и в этом определении отсутствует как раз самое глубокое и прочное свершение этого века: критико-активизм, как общее утверждение культурного автономизма.

Такое же неполное и скорее эклетическое, чем синтетическое определение мы можем дать веку XX, назвав его веком сложно-национальной трудовой демократии, или, — что будет более рискованно, — веком над-национальной кооперативной демократии, но опять таки тут не будет общего синтеза и тут отсутствуют выше намеченные огромные перспективы культурного автономизма.

Еще менее определителен термин «либерализм». Общий смысл этого слова близок к автономизму — только оно более одностороннее и менее определенное. Исторически либерализм связан скорее со свободой духа, т. е. с культурным автономизмом, чем с политическим (который ближе всего выражается в термине «демократия»), и кроме того — с тем крайним индивидуализмом в хозяйстве, в котором ультра-автономизм вырождается в автоматизм и авторитаризм. Поэтому «либерализм» не годится ни в замену, ни в пособие «автономизму» и не может стать «Словом» 20 века.

Может ли стать им «социализм»? И да, и нет.

Если «социализм» сохранит свои прежние значения, то, конечно, нет. Слово это родилось целый век тому назад, при господстве еще метафизической телеологии в обществоведении и означает некое открытие секрета, ключа от социального рая, некое изобретение социальной машины, социальной махинации, осуществляющей всеобщее счастье: нынешнее финалистическое обществоведение таких вещей уже не приемлет. «Секрет изобретения» заключается в «обобществлении», в «обобщении» — и как цель, и как средство: основной смысл автономизма ственности». Автономизм его, конечно, в себя включает. Но, во-первых, рядом с ним он включает в себя и индивидуализм именно в том, что он синтезирует либерализм и социализм, сращивает органически целестремления «я сам» и «мы сами»,

утверждает, что одно без другого не есть ни идеал, ни реальность. А во-вторых автономизм задает социализму вопросы: да, обобществление, — но почему и для чего? Кого или чего? Кем, или чем и как? На эти вопросы разные варианты социализма дают различные до противоположности ответы, и потому одни из них близки к автономизму, другие же в корне ему враждебны.

И в 19 веке, как прямое выражение авторитарно-автоматической реакции второй его половины, преобладали и побеждали именно анти-автономические варианты социализма. У гениальных первоучителей социализма, — как в организации всех целестремлений человека Фурье, в «Обязанностях человека» и в построении «индивид — семья нация — человечество» Мадзини, в системе социальных равновесий Прудона, наконец, в «индивидуалистическом социализме» народников, — собственно уже начал строиться автономизм, только недосознанный и недовыраженный, и ряд их прогнозов, — как в режиме «гарантизма», в кооперации, в исходе мировой войны, в земельном перевороте в России и т. д., — реализовались на наших глазах. Но потом сухой и злой автоматический анализ «конца века» распылил, иссушил, элементаризовал социализм до потери личности, как самотворца. И в вероучении Маркса и в практике большевизма он обратился прямо в анти-автономизм: раз основу социализма — социализованное производство — творит «бог-отец» капитализм, сила авторитарно-автоматическая, раз ее автоматически наследует «бог-сын» — пролетариат, самая автоматизованная из сил труда, раз самую переброску человечества из «царства необходимости» в царство «свободы» совершает «бог-дух святой» сам марксизм посредством грубой авторитарной партийно-пролетарской диктатуры, — то здесь социализм выродился в голую авторитарно-автоматическую телеологию. Она разбилась вместе с крушением авторитарно-автоматической реакции в мировой войне и с большевизмом, и ей нет места в 20 веке.

В общем, 20 век нельзя назвать **веком социализма**, ибо в одном смысле он не вмещает в себя социализма, а в другом, наоборот, его не вмещает социализм. Нет никаких серьезных оснований ожидать в 20 веке осуществления социализма, если под ним понимать обобществление — в форме огосударствления — всего хозяйства. Но все вероятия за осуществление в 20 веке ряда великих реформаций, не охватываемых учением современного социализма: «спрямление» и углубление демократии, развитие национальных самоопределений, демилитаризация человечества, организация всемирной демократии, наконец, новые великие волны «Возрождения», «Гуманизма», «Автономизма» в новых приливах — в женской половине чело-

вечества, в новых поколениях, в новых народах. Не охватывая и не освещая никакой обобщающей теорией этих путей 20 века, не имея вообще никакой общей философии исторического процесса, современный социализм, очевидно, не может стать «Словом» развертывающегося великого и многоликого 20 века.

Самое лучшее, что может сделать социализм, это стряхнув с себя кору элементаризма 19 века, вернувшись к своим высоким истокам, — обратиться к автономизму, впитать, вместить его в себя, наконец, переродиться в него, родить его из себя. Поворот к этому уже замечался перед войной, а после войны уже началась напряженная внутренняя работа в этом направлении, уже давшая первый важный результат: авторитарно-автоматическая кожа марксизма уже сброшена. Теперь социализму остается или отмирать, или расти, развертываясь в автономизм. Я думаю, что этот процесс всего легче начнется в русском народничестве, из которого родилась и моя собственная схема, которое и во всем духе своем и в прямом лозунге «все для народа, все через народ» уже и являет собою начало автономизма.

Итак, «Словом 20 века», — как уже и предыдущего 19 века, как и ряда последующих веков, — будет **Автономизм**. Ибо в нем вывод цельной и реальной финалистической теории исторического процесса, в нем синтез существа переживаемого ныне человечеством начала новой великой исторической эры.

Девятнадцатый век можно назвать **1 веком автономизма** — автономизма еще элементарного (частичного) и неформленного: завершения автономизма культурного, как **режима автономной культуры**, — свободомыслия и свободоцелия, — и первоначального утверждения скрепляющего его **автономизма политического** — парламентарной демократии. Век двадцатый будет уже **2 век автономизма**, — уже более обобщенного, более интегрального и более оформленного и осознанного: завершения **автономизма политического**, — расширения и углубления демократии, — начала автономизма экономического — кооперативного строя, — и, наконец, культурного автономизма, как широкого, многостороннего развития культурного творчества в режиме автономной культуры.

Автономизм, как я его намечаю здесь и как он станет «Словом» 20 века, не означает ни новой догмы, ни новой секты, наоборот, он означает освобождение от них. Он есть выражение **критико-активного умонастроения** в общесведении, находящего через систематическое изучение связи социальных явлений, их соотношения, их «релятивы» и строящего на них реальные закономерности истории.

Автономизм есть вывод из реального **финалистического воззрения на историю**. Финализм констатирует, что социальные

явления суть взаимодействия целестремлений, что социальные силы суть цели-силы, что прогресс есть результат естественного и искусственного социального отбора целесообразностей и состоит в смене автоматизма малоцелия и авторитаризма — чуже-целия, автономизмом-своецелием. Автономизм поэтому не есть «ключ» к построению какого то специального социального механизма, а есть **общая тенденция всей социальной жизни**. Я здесь ее только указываю: явится ряд сильных мыслителей, которые ее изучат, выразят и построят целый ряд систем и вариантов автономизма. Но все эти системы самоопределений будут выражать единый автономизм, по довному тому, как для истинно верующих «религий много, но Бог — один».

Сама **социальная идеология автономизма** не есть пророчество и проповедь какого то фантастического нового «пришествия». Наоборот, **автономизм есть утверждение действительности, утверждение присутствия и развития идеального в реальном**. Он констатирует, что в наше время высшее начало автономизма уже сильно и широко распространено и совершает все более быстрые завоевания. Нам нечего искать ключей к сказочному раю, когда мы уже вошли и входим — через множество сплетающихся самоопределений — во врата автономизма, когда мы уже по эту, а не по ту сторону его.

Это осознание вступления в автономизм, пребывания в автономизме обозначает новую **этическую и религиозную эру «гуманизма»**. Осознание человека, как перво-цели, людей, как само-целей и взаимо-целей, совершит «гуманизацию» общества, гуманизацию человечества. Существо ее в осознании, что «автономизм внутри нас», — как для верующего «царство Божие внутри нас», — что каждый человек должен жить «во человечестве», как верующий должен жить «в Боге».

И этот критико-активизм и финализм, этот автономизм и гуманизм утверждают **реформацию**, как метод социального строительства. Реформация не противопоставляет революцию эволюции, она синтезирует в себе творческие элементы той и другой. Она видит в прошлом глубочайшие корни автономизма, она видит его вездесущие, его мощь в настоящем, видит на какие высоты истории вознес он уже человечество. И плавно со спокойной уверенностью устремляется дальше ввысь.

Медлящий свершится перелом от аналитического конца 19 века к синтетическому веку 20 и будет состоять в овладении этим его синтезом, этим его «Словом»: автономизмом, как исторической тенденцией нашего времени и как интегральным идеалом. Предстоит увидеть, что слова 19 века, — либерализм, демократия, национализм, социализм, кооперация и т. д., суть

только частичные автономизмы, только элементы автономизма в разных отрезках и плоскостях социальной жизни. И предстоит, вместо метаний между ними, вместо междуусобной борьбы их летучих газообразных частиц сгустить их и слить в единый поток, многостороннюю стройную систему.

Это согласование бурных кипучих автономических целестремлений в единое «Слово», в объединенное творчество — огромная задача, задача ряда веков. Как приступит к ней наш век? Кто скажет первое слово? Это трудно предугадать, об этом тяжело думать.

Может быть синтез потому и медлит начаться, что человечество еще к нему неспособно. Может быть предстоит еще метания в тупиках, еще безумия борьбы и самоистребления. Может быть отмирающие силы автоматизма — авторитаризма — в лице ли той же Германии, или целой части Западной Европы, дадут полуслепому и распыленному автономизму еще один всемирный бой. И только когда они окончательно, навсегда будут в нем раздавлены, только тогда — как в кровавом бреду минувшей войны уже прозвучало частичное полусознательное благовестие «Самоопределения народов», — так из этой будущей чудовишной войны явится изнемогающему в борениях человечеству ясное и полное откровение **цельного Автономизма?**

Но может быть человечество постигнет откровение автономизма и без этого нового кровавого крещения. Может быть синтез автономизма уже созрел логически и психологически в душах людей. Может быть элементарные силы и красоты девятнадцатого века уже пережиты, уже отжиты в оргии мировой войны, и человечество жаждет перемены, жаждет иной силы и иной красоты. Может быть усталый от борьбы, от войн и революций, пресыщенный победами **Разума над природой**, 20 век скоро сам возжаждет мира и творчества, побед **Добра над человечеством**. Может быть он готов уже вдохновиться после технического социальным изобретением и оставив 19 веку славу пара и электричества, прославиться не только материально-духовным, беспроводным» единением душ и первыми всемирными, всечеловеческими гармониями.

Может быть правда Автономизма откроется человечеству во встрече двух миров: Запада и Востока. Их целестремления, их знания, их мудрости различны, и, как из скрещения рас рождаются новые высшие породы, так может быть именно в скрещении евр-американства с евразийством зачатся синтез цельного автономизма. Азия должна в 20 веке и совершить свое Возрождение, и найти свой Гуманизм, и построить свою Революцию, и начать свою Реформацию. Этим беспримерным историческим сдвигом, этим приливом ожившего людского океана от-

кроется русло все более глубокому и полному Автономизму на ряд веков.

Может быть «Слово» Автономизма должно быть сказано человечеству кем то, может быть дело его должно явиться в живом воплощении. Может быть какой то народ, какая то страна выдвинется историей, как наиболее подготовленная для автономизма, как живой опыт и пример и двинется вперед, как головной отряд в великом переселении народов — из старого в новый социальный мир. Такая страна есть: Россия. Автономизм в ней уже явлен более полно и более связано, чем где бы то ни было: и в мирном и творческом сожитии ее народов, и в единственной в мире грандиозной и самопроизвольной кооперации, и в творчестве ее духа — в страстных исканиях Правды, в самоотверженных борениях за Волю. И географически, и исторически, и огромным телом своим, и великим духом она поставлена во главе Евразии и в слиянии с Еврамерикой и предназначена спаять эти два мира — во всечеловечестве и в Автономизме.

Таковы вероятнейшие исходные пути 20 века. Возможны и другие, пока скрытые от нас мглою событий. Путь 20 века много. Но все они ведут к Автономизму — его величайшему вдохновению и его откровению грядущим векам.

К. Кочаровский

С точки зрения русского

Каковы могут быть с точки зрения русского результаты вооруженного конфликта с СССР, о котором так горячо мечтает русская «зарубежная» пресса?¹⁾

Чтобы ответить на этот вопрос, не мешает, хотя бы кратко, проследить историю вооруженных столкновений, имевших место с 1918 г. СССР с другими государствами. И не мешает вспомнить особенности большевицкой психологии.

Большевики несколько раз пытались воевать и каждая ведшаяся ими война, оканчивалась тяжелым поражением России.. Именно *не* большевиков, а России. У большевиков же эти постоянные поражения создали уверенность в ... собственной силе! В самом деле, на каких только нас фронтах не били, а мы все у власти. Другое правительство давным давно слетело бы, мы же держимся, значит — мы сильны... Такова приблизительно большевицкая теория, вытекающая из опыта бесславных войн.

Отцом этих войн в значительной степени является Брест-Литовский мир. Он же был тем сильным психологическим ударом, претерпев который, большевики весьма легко воспринимали новые поражения. Эти новые поражения, по сравнению с Брест-Литовским миром, им казались совершенно незначительным.

Ведь Брест-Литовский мир явился действительно страшным поражением не только для России, но и для надежд большевицкой партии. Как это не дико, но большевики, разлагая Восточный фронт, выводя русскую авию из войны, проповедуя сначала «братание», а потом уход с фронта, возлагали большие надежды на бунт в немецких флоте и армии:

«У нас внушил очень большие, несколько преждевременные, надежды бунт германских моряков осенью 1917 года. Из этого восстания германского

1) Смотри номер 8-9 «Воли Росси», 1927 г.

флота мы вывели заключение, что Германия в буквальном смысле слова накануне революции, — а она действительно была накануне революции, но, к сожалению, не в буквальном смысле. Когда я приехал в Петербург к т. Троцкому, отправляясь на Брестские переговоры (меня и тов. Павлевича высылали дополнительно, когда Иоффе, Каменев и другие уже были там), первое, чем он меня встретил, был рассказ о будто-бы только-что происшедшем грандиозном восстании у немцев: 30 тысяч солдат взбунтовалось и укрепились где-то между Гродно и Белостоком, и с фронта сняли несколько дивизий, чтобы ликвидировать восстание».

Так в присущей большевизмам профессорам неряшливой форме рассказывал в Свердловском университете в курсе лекций по внешней политике «сам» М. Н. Покровский о большевизмских надеждах в период заключения Брест-Литовского мира. Конечно, плох был бы тот слушатель, который подумал бы, что у большевиков были надежды только на гипотетический бунт матросов и солдат. Как полагается, большевики надеялись (уже тогда!) на капиталистов..

«Мы совершенно определенно увидели группу «миролюбиво» настроенных германских промышленников, капиталистов, возглавляемых Кюльманом, тогдашним немецким министром иностранных дел, а рядом с ними — группу этих несчастных союзников (германских, Вл. Леб.), которые даже внешним видом производили весьма жалкое впечатление.

.....

.....

.....

Это была одна группа, которая стояла за мир с нами, желала добиться его возможно скорее. И рядом с этим был генерал Гофман, который ударял кулаком по столу в нужную минуту...

Таковы были большевизмские расчеты, — как видим теперь из «лекций» М. Н. Покровского, — весьма хитроумные... Исходя из них большевики придумали и соответствующую тактику:

— «тянуть, пока германская армия окончательно разложится, пока в Берлине вспыхнет восстание рабочих, затем заключить не мир, а братский союз с германским советом народных коммиссаров, с Карлом Либкнехтом во главе».

Сколько бумаги исписано, сколько речей произнесено во славу «гениального» плана заключения Брест-Литовского мира! В действительности же «план» этот был построен на самой необузданной фантастике. Ибо, признается, М. Н. Покровский:

—«употребляя выражение Плеханова, правда, по другому поводу, можно сказать, что второй месяц беременности приняли за девятый и, благодаря этой ошибке оказались на одном пути с Людендорфом. Тому нужно было тянуть, пока разложится русский фронт, который, к сожалению действительно разлагался, и очень быстро, а нам нужно было, чтобы разложился германский фронт.

Оказавшись на одном пути с Людендорфом и разложив предварительно русский фронт, большевики целиком попали в руки этого «попутчика».

А вот как рисовал дело Людендорф:

«Чтобы воспрепятствовать самим большевикам образовать новый восточный фронт, мы должны были нанести короткий, но сильный удар по расположенным против нас русским войскам, который позволил бы нам при этом захватить большое количество военного снаряжения. Дальнейшее развитие операций на востоке имелось в виду на ближайшее время. На Украине надо было подавлять большевизм и создать там такие условия, чтобы иметь возможность извлекать из нее военные выгоды и вывозить хлеб и сырье. Для этого мы должны были сильно углубиться в страну; другого выхода для нас не было».

Осуществилась, конечно, программа Людендорфа. Голубович (с Петлюрой) сначала, Скоропадский потом, на Украине, Краснов на Дону, большевики в Москве помогли Людендорфу провести его программу.

Но Брест-Литовск обозначал не только *эту* победу германского генерального штаба над «гениальными» Лениным и Троцким.

Он не только «не вывел Россию из войны», а наоборот заменил войну с Германией рядом более опустошительных гражданских и национальных войн. В гражданских войнах большевики оказались победителями. Как — эта тема нас в настоящий момент не занимает. Но не их заслуга в том, что значительная часть российских земель не осталась в руках вильгельмовской Германии. Не случись победы союзников, Брест-Литовск был бы роковым и для России, и для Польши, и для Украины, и для Эстонии, Латвии, Литвы и Кавказа. Благодаря же победе союзников он ока-

зался роковым только для России. Победа союзников заставила Германию выпустить захваченную добычу. Германская революция лишь *узаконила* фактическое уничтожение Брест-Литовского мира.

Но самой России был нанесен тяжелый удар. *Брест-Литовск явился причиной распада российской федерации.*

И когда, ушедшие с бывшего восточного фронта, после перемирия с союзниками, германские войска, перестали быть для большевиков препятствием, большевики *силой* попробовали вернуть в уже коммунистическую «федерацию» отошедшие благодаря Брест-Литовску от России края.

Вот в каком смысле Брест-Литовск был отцом ряда войн, ведшихся большевиками («вывели Россию из войны!») после того как Европа уже замирилась.

Если мы позволили себе сделать столь длинное отступление, то только для того, чтобы показать, где источник легкомысленного отношения к войнам самих большевиков, в чем особенность их психологии, и чтобы лишний раз напомнить в момент празднования десятилетия Октября о тех легкомысленных «надеждах», которые двинули большевиков на захват власти, и бросили Россию в ряд войн и в то все еще полусадное положение, в котором она находится и по сей день.

**

Опыт Брест-Литовска не излечил большевиков от «больших, несколько преждевременных надежд». Наоборот, у победителей на внутреннем фронте закружилась голова, и к легкомысленным надеждам на местные и мировую коммунистические революции прибавился еще и подлинный военный утар.

Брест-Литовский мир, сказали мы, нанес жестокий удар российской федерации. Уход германских войск с занятых ими территорий этой федерации автоматически вызвал движение большевистских армий. Большевики видели в занятии этих территорий не столько приобщение их к российской федерации, хотя бы и коммунистической, сколько средство к продвижению коммунистической революции на Запад.

Все окраинные государства должны были стать плацдармами, откуда на острие большевистского штыка должна была быть принесена в Западную Европу коммунистическая «свобода».

И начались «национальные» войны большевиков с окраинами.

В процессе этих войн ряд отошедших из-за Брест-Литовского мира от российской федерации национальностей оформился в независимые государства. Эти войны второй раз нанесли тяжелый удар по идее федерации.

Но, что важнее всего для нашей темы, эти войны показали

неспособность большевиков к ведению военных действий против *национального* (а не гражданского) противника.

Войны с Финляндией окончились миром, заключенным в Юрьеве (октябрь 1920 г.), с Эстонией миром заключенным в Москве (февраль 1920 г.), с Латвией — миром, заключенным в Риге (август 1920 г.) и с Литвой — миром, заключенным в сентябре 1920 г.

Все эти миры, подчеркнули полное поражение большевицких армий. Крошечные государства, государства «карлики», в борьбе против огромной большевицкой армии оказались победителями. Их войска, исключительно *добровольческие*, немногочисленные, паспех вооруженные, с'умели не только отбиться, но и заставить большевиков признать свое поражение. Миры, заключенные этии прибалтийскими государствами, оказались невыгодными для России. Не только был, как мы уже сказали выше, нанесен тяжелый удар по идее федерации, но и Россия — Р.С.Ф.С.Р. — должна была припять не всегда выгодные для нее границы, уступить территории с русским населением и под видом «раздела общего достояния» выплатить контрибуцию. То обстоятельство, что всех этих результатов прибалтийские государства добились *путем восстой победы* над большевицкими армиями, лишило всякого значения позднейшую большевицкую декламацию о добровольности мирного сожительства РСФСР с национальностями, раньше входившими в состав российской федерации.

(Не мешает указать, что, подписывая Брест-Литовский мир, большевики вкупе с немцами так определили судьбу прибалтийских областей: эти «принадлежавшие раньше России (территории) не будут более находиться под ее верховной властью». И более ни слова!... Национальности действительно были преданы большевиками!...)

Насколько полно было поражение большевиков в этих войнах указывает телеграмма эстонского министра г. Поски Чичерину о том, что «война, начатая не по вине Эстонии, теперь перенесена на территорию России».

И храбрый портняжка — Чичерин — *должен был* принять предложенный мир.

На Кавказе похождения большевицкой армии кончились так же печально. И большевики особыми договорами признали независимость закавказских республик. На этом фронте предательство большевиками, при подписании Брест-Литовского договора, национальностей, особенно многострадальной армянской нации, было такое же полное, как и в Прибалтике.

Но договоры, заключенные большевиками с закавказкими республиками, вскоре были расторгнуты, и большевики с *помощью турецких войск*, завоевали Закавказье. Это единственная «военная» победа большевиков, одержанная фактически Муста-

фой Кемаль Пашею, получившим за это *Карс, Ардаган, южную часть Батумской области*, и моральную поддержку на предмет дальнейшего истребления армян.

Даже столкновение с... румынами!... кончилось поражением большевицких полководцев и Россия потеряла Бесарабию, население которой отдано на поток и разграбление отвратительно-враждебному *всему русскому* румынскому режиму.

Но, скажут, быть может, большевики, все эти поражения произошли в годы наших неурядиц, когда мы были неорганизованы, когда у нас были внутренние фронты... Верно. Но и у крошечных по величине противников большевизма в эти годы царил не меньшая неорганизованность, и они испытывали не меньшие внутренние затруднения.

Вслед за тем были «бескровно» потеряны Аландские острова.

Но венцом большевицких поражений является поражение, нанесенное Польшею. В результате этой войны Россия оказалась в буквальном смысле ограбленной своей противницей. Большевицкая стратегия стоила России очень дорого. Послушаем советского историографа:

«Русско-польская война 1920 г., приведшая в 1920 г. русских ко Львову и к самым стенам Варшавы, завершилась в конце концов отказом Р.С.Ф.С.Р. продолжать ее, так как ей нужны были силы в другом месте». (В. Шетцель. Политические итоги мирных договоров 1919-1925).

«Граница, которая согласно первоначальным русским мирным условиям должна была следовать этнографической границе у Буга, далеко отодвинута к востоку и тянется (согласно русско-польскому Рижскому договору от 18 марта 1921 г.) приблизительно по линии старого германского восточного фронта т. е. около 200 километров к востоку от границ распространения польского языка».

Разгром Красной Армии, двинутой самоуверенными и преступно-легкомысленными «вождями» на Варшаву в целях «мировой революции» и после того, как польское нападение уже было отбито, рикошетом отозвался не только на России. Победа окрылила поляков и они, вопреки статье 91 Сеп-Жерменского договора, захватили в свои руки Восточную Галицию...

Так плачевно кончилась для России затея Ленина и Троцкого «штыками прощупать Польшу», для каковой цели была мобилизована пятимиллионная армия!

*
**

Подведем итогу, вытекающие из перечня большевических военных поражений.

Каждый раз, где бы ни происходило столкновение — во время ли оккупации Украины и Дона немцами — с войсками «гетмана» Скоропадского или «атамана» Краснова — немецких ставленников, — на границах ли Румынии, Персии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и т. д., в убытке всегда оставалась Россия.

Не большевики, а Россия...

Пораженческая теория наших «вождистов» и фашистов, призывающих иностранцев к вторжению в Россию, психологически может быть объясняема, как безумие отчаявшихся людей, *по существу же, по объективным результатам, это — просто измена России, предательство русского народа.*

Раскультивирившийся, политически опустившийся до уровня черной сотни, «академик» Струве не постеснялся быть министром иностранных дел Врангеля. Тогда этот «министр иностранных дел» — какой державы? — вместе с «вождем» Врангелем и по указке Мильерана делал отчаянные усилия, чтобы помочь маршалу Пилсудскому. В результате — польская граница отодвинута на двести верст к востоку, в русские пределы... Вернется ли эта территория обратно? и как?

Не должны-ли поляки, если у них есть чувство справедливости, поставить на цоколе будущего памятника Пилсудскому в ряду фигур, героев польской «отечественной» войны 1920 года, и фигуры Врангеля и Струве?

Или «патршоты» собственной страны па чужие памятники не попадают?

Господа из зарубежной фашистско-монархической печати изобрели, как им кажется, остроумную формулу: Россией, превращенной в СССР, правит не русская власть, а III Интернационал. Это — *чужеземцы*, завоевавшие Россию. А потому в борьбе против них можно пользоваться иностранными силами. На Зарубежном Съезде эта чудовищная формула толковалась вкось и вкривь, вдоль и поперек цитировались разные исторические примеры, и восхвалялись всевозможные иностранные освободители от чужеземного ига.

Так в теории, а на практике: Краснов, Иванов, Скоропадский помогали немцам, русские монархическо-фашистские отряды (с германскими вместе) помогали финляндцам, русские войска Юденича и другие отряды помогали эстонцам, полки Бермон-Авалова (вместе с немцами) помогали латышам, Врангель, Балахович, Савинков помогали полякам и т. д. и т. д. — Словом, помогали всем чужим отечествам против собственного и в ре-

в результате большевики попрежнему в Москве, а Россия, та самая Россия, о которой, якобы, пекутся зарубежные «патриоты», поражена.

В этой огромной трагедии курьезным является то обстоятельство, что те, кому помогали зарубежные «патриоты», относились и относятся к ним с нескрываемым отвращением.

Конечно, ни это отвращение, ни опыт прошлого не излечили «патриотов». Они попрежнему продолжают умолять и англичан, и поляков, и вообще «всех, всех, всех» вооруженной рукой двинуться на российскую территорию. Они дошли до того, что в момент особо острого конфликта между Англией и СССР, умоляли Англию... занять Кронштадт! На почве жажды власти, жажды *какой угодно ценой* выбросить большевистскую власть и заменить ее своей наши сверх-патриоты начали, наконец, мечтать об отделении Украины при помощи поляков и англичан. Это отделение, по их мысли, превратило бы Украину в их плацдарм!...

Пропаганда в этом смысле велась весной этого года, и глупые статьи одной из французских больших информационных газет относительно украинских дел цитировались с восторгом всем «патриотическим» зарубежьем, как доказательство того, что «скоро начнется»... Что--скоро начнется? Вооруженное движение поляков, украинцев, поддержанных англичанами и вообще Западной Европой... Воспаленному воображению уже рисовались картины баталий на родной земле, триумфальный марш польских армий на Киев, водворение на киевский трон не то гетмана, не то еще кого-то, занятие англичанами Кронштадта, Петербурга, движение русских «патриотических» отрядов со всех ограниченных территорий на Москву.

Этот безумный бред был бы комичен, если бы он не имел в прошлом очень реальных предпосылок, если бы он не соответствовал в настоящем, — хотя бы в части своей — действительным устремлениям многих врагов России.

Дорогой ценой готовы заллатить за реставрацию русские «патриоты». И какая они находка в момент военных действий против России в руках иностранцев!... Иностранцы-то ведь знают, что не в «чужеземном иге» дело. Польше, отхватив от России огромную территорию, не только поспешила примыкнуть и признать большевиков, но припла в подлинный ужас, когда разразилось кронштадское восстание.

Польская печать доказывала, что лучшего правительства, с польской точки зрения, для России не найти.

Это поведение зарубежных «патриотов», наоборот, дает возможность большевикам оттаять свой повоявленный «патриотизм».

Показывая русским людям в Петербурге и Москве, Киеве и Одессе учеников Струве и К-о, агентов Кутепова и Николая

Николаевича, связанных с польской, английской или какой либо иной контр-разведкой, заставляя их излагать перед русскими людьми планы нашествия на Россию новых двенадесурых языков, о котором мечтает «Зарубежье», большевики добиваются замечательных эффектов. У слушателей этих показаний не может не возникнуть желания помогать в таком случае *той власти, которая судит подобных людей.*

В этом и заключается суть «показательных» процессов. Будет или не будет «нашествие» — еще не известно, но уже *теперь* до «нашествия», большевицкая власть обращается в средоточие сил, которые от этого предполагаемого «нашествия» должны оборонять *русскую* землю. Вот какой в психологии русского, на русской земле человека, происходит процесс. И бесчисленные маневры комсомола, пионеров, рабочих, армии и флота, все огромное военное возбуждение в СССР основывается на этом пропагандируемом «зарубежниками» «нашествии». Большевикам это возбуждение, по крайней мере теперь, выгодно.

*
**

Что может дать война России? Война, затеянная ли большевиками, предпринятая ли Западом? Ибо, хотя мы не держимся взгляда, выгодного большевикам и пропагандируемого черносотенцами, — что война вот-вот разразится, — мы не можем и поручиться за то, что возможность ее навсегда исключена на западных границах России.

Если бы такая война возникла, она логически протекала бы по плану, рисующемуся воображению наших зарубежных «патриотов». Война против СССР на ее западных границах, конечно, возможна только при нейтралитете (в лучшем для СССР случае) Германии и обращении тех или иных прибалтийских государств, а главным образом Польши и Румынии, в плацдармы, с которых при соответствующей морской операции в Финском заливе начнется наступление на территорию СССР.

Украина при этом должна будет играть ту самую роль, какую она уже играла в построениях германских, и особенно польских. В 1920 г. Петлюра при наступлении Пилсудского на Киев это задание выполнял. Его националистические взгляды совпадали с планами (а там, где не совпадали, ему пришлось идти на компромиссы) Пилсудского. Русские «патриоты» изображали со своими войсками русскую подставную национальную власть, которая в случае полной удачи Пилсудского должна была бы санкционировать насилие, устроенное над Россией. Все роли были тогда уже распределены.

На «Зарубежном Съезде» русские черносотенцы отказались даже от «единой, великой, неделимой» и торжественно признали совершившийся факт: независимость окраинных государств, не

потому, конечно, что принцип самоопределения народов стал близок их сердцам, а потому что никаких иных «подступов» в России нет. Мало того, в их органах начали появляться выражения симпатии к... Грузии и в одном из номеров, если не ошибаюсь, Вестника Национального Комитета» произошел даже трогательный обмен приветствиями с Ноем Жордания. Теперь после раскрытия планов Жордания и его окружения на Кавказе, после всей компании «комитета независимости Кавказа», в свою очередь связанного с «комитетом независимости Туркестана и Украины», этот обмен приветствиями представляется совсем в ином виде. И Жордания и Рамишвили ясно определили свои планы: во-первых — *изолировать общими силами Великобританию*, во-вторых — создать военный союз этих наций, как *на время войны* с Россией, так и после нее. Все эти планы покоились на убеждении Жордания и его товарищей в силе украинского движения, возглавляемого после смерти Петлюры г. Левицким, в свою очередь готовым, по его заявлению, «заклучить союз с Англией» (не говоря уже о Польше).

Мы не станем здесь обсуждать вопроса — выгодно или нет осуществление подобных планов Украине, Грузии и прочим национальностями. По нашему мнению не выгодно. По нашему мнению подобные планы являются преступлением против этих стран. Но это — иная тема. Здесь же мы хотим указать, что в случае войны с СССР на ее западных границах будет осуществляться именно этот план, план раздробления СССР и выделения из нее какой-то «Великороссии».

Надо-ли говорить, что осуществление подобного плана было бы роковым для существования России, и что только дикой, все заслоняющей ненавистью и не менее дикой жадной власти можно объяснить позорную пропаганду наших зарубежных «патриотических» газет, умоляющих Черчилей и Пилсудских начать войну с СССР и развращающих души своих читателей.

Именно эта отвратительная пропаганда стирает все границы между дозволенным и педозволенным, толкает неустойчивых людей в ряды иностранных контр-разведок и превращает их в фактических врагов собственной родины. То, что в изданиях, ведущих подобную пропаганду, появляются имена когда-то больших писателей, вроде И. Бунина и А. Куприна, факт глубоко прискорбный и для них самих, и для русской литературы. Еще никогда в ее истории подобного случая не бывало!...

Надо ли говорить, что действительная *точка зрения русского* с негодованием отвергает подобные планы. Эти планы, рассчитанные на победу Англии (и Польши) над Россией, победу, сопровождающуюся *враждебным* обособлением составляющих нынешний СССР национальностей, не являются они разве планами злейших врагов России? Не преследуют раз-

ве они цель: раз и навсегда убить идею великой федерации народов, связанных общностью интересов, сделать невозможным их дружеское сожитие, и воспользовавшись тяжелыми условиями, в которые их поставила большевицкая диктатура, отделить друг от друга и превратить в объект политического и экономического воздействия сил, враждебных России?

И то, что действительная точка зрения русского неизбежно совпадает, не может не совпадать с точкой зрения социалиста, показывает огромную, почвенную силу социализма в России. Социалистическая точка зрения, защищающая демократическую федерацию народов, населяющих нынешний СССР, враждебная войне, кто бы ее ни начал, отрицающая «зарубежное» поражение и большевицкий революционный милитаризм, разве не отвечает она самым заветным желаниям русских людей в России — избежать во что бы то ни стало новой войны, разве не отвечает она фактическому положению вещей в России?

Ибо до ясности очевидно, что Россия превращена на долгое время в небоеспособную страну, что всякая серьезная война для нее не под силу и может привести к осуществлению вышеуказанных планов.

Конечно, мы, социалисты не смотрим на большевиков, как на «чужеземную власть», оккупировавшую нашу страну и которую надо, по пословице «клип клином вышибай», выбивать из России при помощи иностранных войск. Мы рассматриваем большевизм, как деспотическую власть, против которой необходима борьба внутри страны, по которой на столько же «чужеземна», насколько был «чужеземен» и императорский, самовластный деспотический режим дореволюционной России.

То, что во главе этой власти стоит грузин Сталин, или еврей Каменев, или украинец Крыленко на нас не производит ни какого действия. И грузины, и евреи, и украинцы входят в состав СССР.

При старом режиме вся династия «Романовых» была чужеземной для *всей* России, но никому из революционеров и в голову не приходило считать самый режим «чужеземным» и на этом основании звать на свою собственную Родину иностранные войска...

«Зарубежные» патриоты очень часто любят вспоминать о какой-то якобы «непатриотичности» революционеров в старое время.

В чем состояла эта «непатриотичность»?

Не в том-ли, что революционеры убеждали российские народы в неспособности самодержавного строя защищать Россию? Но разве это оказался неправдой? Не в том-ли, что они боролись всеми силами против военного авантюризма царского правительства? Но разве они не были правы?

А когда война разразилась, то самые «крайние» из них против военного авантюризма которых нам теперь приходится бороться, звали к восстанию против войны, пусть неосуществимому в тех условиях, утопическому, но все же такому далекому от того, к чему теперь зовут эмигранты «зарубежники».

Даже пораженцы-большевики, в дореволюционное время, не доходили до того, до чего дошли русские «патриоты»...

Никому из революционеров в голову не могло прийти, после самых кровавых усмирений, звать на родную землю иностранные войска под видом помощи на предмет свержения «чужеземной» власти Романовых.

Самодержавный строй не заслонял от нас России, ее народов, ее прекрасных особенностей.

На каторге, в ссылке, в тюрьмах и в эмиграции русские революционеры помнили, что они являются жертвами *строю* и борцами за счастье *народа*. Их *враждебность* к строю, обуславливалась их *любовью* к народу. Сквозь темничные огна и из заграничного далека они с жадностью разглядывали все хорошее в России и в русском народе, и во всех народах России, гордились этим хорошим, и во имя развития этого хорошего вели борьбу со строем.

Могло ли им, жизнь свою отдававшим за свой народ, прийти в голову хаять его перед всем миром, со злобой величать его хамом, с отвращением относиться *ко всему*, что делается в России, только потому, что там враждебный им, революционерам, режим, как делают это современные Бунины? Конечно, нет. И в этом главное их отличие от нынешних «зарубежников». Они, будучи интернационалистами, были в миллион раз больше *русскими*, чем на каждом шагу склоняющие слово Россия «зарубежники».

Они с ужасом думали о том, что по русским полям может прокатиться военная гроза, что по русской земле пойдут иностранные полки, что русский народ погонят на убой.

И когда пришла война многие из них пошли с народом умирать, но ни один не пошел на Россию с иностранными войсками. А наша революционная вражда к самодержавному строю была сильней и длительней нынешней «зарубежной». Поколения русских революционеров вынашивали в себе эту вражду, но, как она не была *«сильна, народа «русского» она»* заслонить не могла.

**

Допустим на минуту, что план наших «сверх-патриотов» и всевозможных Левицких осуществится. Что, действительно, на границах СССР соберутся какие-то войска и грянет бой.

Как они себе представляют эту войну? В виде ли триум-

фальной прогулки, или в виде настоящей военной операции на территории СССР?

Ибо не надо себя обманывать (это относится и к большевикам) подобная война, если она возможна, разыграется на территории СССР. В этом и будет заключаться та ее «локализация» (при нейтралитете Германии), о которой мы говорили в прошлой книжке «Воли России». Впрочем, о такой именно войне «зарубежники» и мечтают.

Что война эта не будет прогулкой, в этом порукой опыт прошлого. Как ни слабы были большевицкие силы, какое-то сопротивление они оказывали и в прошлые войны. Во время последнего польско-русского столкновения были и довольно кровопролитные бои. За это время Красная Армия сделала успехи во всех направлениях. Эти успехи не настолько велики, чтобы доставить ей победу над западно-европейским противником, но достаточны для того, чтобы она могла оказать ему сопротивление.

Сопротивление же предполагает развертывание настоящих военных действий со стороны противника. А как развертываются в обстановке современной войны военные действия об этом с трепетом говорят в европейских парламентах ораторы всех партий, об этом с ужасом пишут военные писатели всех стран.

Газовая и химическая война. мощная артиллерия, воздушный флот, танки всех видов, огонь, доведенный до высшей степени напряжения — какие страшные перспективы для атакованной страны!

Недавно кайзер Вильгельм, в своем уединении в Дорне принимающий журналистов, дал одной шведской газете интервью о будущей войне.

Картина рисуемая им быть может несколько преувеличена, но только *несколько*:

«В самый момент объявления войны беспроволочный телеграф передаст приказы могущественным воздушным флотам в их аэропортах, дирижаблям и подводным лодкам. Немедленно истребят торговые суда, и нация, не приготовившаяся к войне, будет уничтожена. На суше и на море новые газы и взрывчатые вещества будут употреблены, и более слабые погибнут!»

А вот как описывал эпизоды из боев под Верденом в своей последней речи маршал Петен:

«И тогда начиналась драма четырех, пяти или шести дней. Бойцы, подвергнутые систематическому избиению враждебной артиллерии, видели своих товарищей разбитыми в клочья на боевом посту или заживо погребенными под обвалами земли. Их груди задыхались под действием газов, чей дым — белый, желтый, зеленоватый — стлался по земле, смешивая свой раз'едающий запах с тошнотворной вонью разрытой трупной гнили».

Такова картинка недавнего боя, уже кажущаяся идиллией по сравнению с будущим боем.

Грядущая война — это истребление городов и сел, отравление населения газами, уничтожение поголовное противника.

Желать победоносной войны против СССР — это значит идти войной не на большевиков, а на население родной страны, это — звать воздушный флот иностранцев на бомбардировку русских (и украинских г. Левицкий!) городов, это — отравлять газами русское население, это — стремиться уничтожить своими руками родную землю.

Только таково может быть фактически значение призыва иностранных армий в настоящий момент против СССР.

Фантастические бредни «зарубежников», основывающиеся на воспоминаниях о борьбе под Тихорецкой или у Перекопа, до сих пор ими прославляемой, как венец военных достижений, очень отличаются от суровой действительности. Если на Россию — ненавистную черносотенцам СССР, — двинутся с Запада войска, то двинутся они на этот раз во всеоружии. Не так, как двигались по ней армии Деникина, Троцкого или Пилсудского, а хотя бы так, как рассказывает о современном бое маршал Петен. Над этим вопросом следовало бы задуматься не только академикам Струве, но и господам Левицким и Ною Жордании.

Их не пугают политические результаты подобной войны, но быть может, их заставили бы задуматься, если они в состоянии заглушить в себе голос всезаслоняющей ненависти, вот эти перспективы боев на территории своего народа.

**
*

Эти перспективы имеют ту же силу и для большевистских стратегов и «вождей». Их военное возбуждение, конечно, преувеличено. Их раздувание *неизбежности* войны, конечно, носит характер кампаний, необходимой им для внутривнутриполитических целей.

Но с другой стороны они лучше, чем кто либо другой, знают, что им может грозить. Потому знают лучше, что им-то уж в точности известна величина той ставки, которую они сделали в своей гигантской, но легкомысленной игре.

Мы уже показали в начале этого очерка, как легкомысленно, как наивно возлагали они свои надежды на... миролюбивое отношение к ним вильгельмовского министра Кюльмана и германских капиталистов, а одновременно и... на коммунистическую германскую революцию. Миролюбие капиталистов должно было по «гениальным» планам Ленин-Троцкого помочь русским большевикам опрокинуть мировой капитализм... Другие русские социалисты предвидели, что из мира в этой обстановке с германцами ничего, кроме удара по России не выйдет, а что затем большеви-

ков по устройству мировой коммунистической революции из Москвы поставят на карту нормальное развитие России и ее государственное существование.

Так и случилось.

Людендорфу в обстановке войны нужен был «короткий удар». Когда большевики, понявшие тщетность своих надежд на «мирного» Кюльмана, попробовали зафордыбачить и объявить немцам, что «войну прекращаем, армию демобилизуем, но империалистского договора не подписываем» — формула то какова! — то Людендорф в ответ захватил Двинск и Псков и колоссальное количество вооружения. И большевикам пришлось договор подписать.

Нынешние противники большевизма действуют не в обстановке войны. У них нет в тылу, как была у Людендорфа, могущественнейшей со дня сотворения мира союзной армии, и им не надо во что бы то ни стало, сейчас, немедленно, захватить территории, с которых можно вывезти продукты питания.

Они, нынешние противники большевизма, могут ждать. Даже и Людендорфу, по признаниям М. Покровского, надо было ждать пока процесс таяния фронта достигнет максимума для того, чтобы «коротким ударом» «разгромить Россию».

Не разлагаемые же Москвою коммунистические иностранные партии явятся тем противовесом замыслам нынешних Людендорфов, которым в 1917 году была союзная армия... А кроме того *на этом именно фронте* происходит стихийное... таяние! Большевицкие резервы за границей тают, и можно предвидеть момент, когда этот процесс достигнет своего максимума.

Происходит это таяние и на русском большевицком фронте.

Мы никогда не были и не будем *пораженцами*. В поражении нашего народа мы никогда не видели ничего доброго, и поражения народа никогда не желали. В войнах поражение власти гораздо более отзывается на народе, чем на самой власти. Народ его чувствует *физически*. Мы использовали *результаты* поражения для того, чтобы открыть глаза народу на причины несчастий и на гнилость режима, мы предсказывали народу неизбежность авантур и поражений при наличии деспотического строя, но самих поражений мы не желали и вели борьбу против всяких военных авантур, хотя и знали, что эти поражения сокращают наш путь к власти. Но такой ценой, мы никогда не хотели притти к власти.

Не хотим, всей силой нашей воли, всей страстью нашей любви к народу, мы и теперь этого поражения. Нас не смогут обмануть никакие фантастические вымыслы о том, что какие то благодетельные силы в Европе, начнут войну только для того, чтобы свергнуть большевизм.

Мы знаем, что все эти «противники» большевизма, начиная от Людендорфа, которому, по словам М. Покровского, надо было «раз-

громить Россию» и кончая Пилсудским, предпочитали всегда оставаться во главе побежденной страны, ту власть, которая подписали с ними позорный договор. Тяжелый опыт ряда «антибольшевицких» войн этому порукой! Но если бы даже целью такой войны было действительно стремление свергнуть большевизм, мы и тогда были бы противниками этой войны, ибо войны иностранными армиями ведутся всегда против народов, а не против власти. Красная Армия — это мобилизованные русские крестьяне, рабочие и интеллигенция, города СССР населены русским народом.

— Драться то ведь нам, голодать то ведь нам, погибать то ведь нам, а не Сталину с Бухариным,

говорит русский обыватель, враг большевиков, в публикуемой «Волей России» волнующей статье Глеба Гонцова из России.

Наша борьба против большевиков внутренняя, политическая борьба, борьба, рассчитанная на волю и разум *русского* народа и подчиненная его интересам.

Но мы не можем не говорить нашему народу, что вся политика большевиков — внутренняя и внешняя — дает новым Людендорфам не только аргументы для наступления в нужный для них момент на Россию, но и позволяет им, обзаводясь все новыми и новыми союзниками, спокойно ждать этого нужного момента, чтобы потом «коротким», но гибельным для России ударом, осуществить свою программу.

Мы не можем не говорить нашему народу, что большевицкая тактика расстраивает ряды действительных союзников России, не жалкие коммунистические партийки, а мощные демократическое, и, главным образом, социалистическое движения мира. Радость Зиновьевых и Бухаринных по поводу конца «эры демократического мира» и падения Макдональда звучит теперь в дни военного возбуждения и военной паники в СССР, как полное признание преступности режима, авантюристически подкапывавшегося под самый верный оплот мира. Променять Макдональда на Чемберлена, стремиться к этой замене, радоваться ей — не доказательство ли это безумия кремлевских вождей, дрожащих теперь перед Чемберленом.

Мы не можем не говорить нашему народу, что политика этих кремлевских «вождей» все время ставит на карту существование России, и в погоне за неосуществимой в ближайший момент мировой революцией, грозит России новыми бедствиями.

И мы не можем не указать, что все *военные меры* большевиков из которых многие сами по себе разумны, не могут ни испугать врагов России, ни предохранить ее. Как бы ни казались значительными эти меры самим большевикам, и даже русскому населению, они детская игрушка по сравнению с теми средствами войны, которыми обладает Запад. Надежды большевиков — одновре-

менные — и на Красную Армию, и на Коминтерн, и на разделение капиталистов — так же легкомысленны, как в свое время надежды на Кюльмана и коммунистическую революцию в Германии.

Залог мирного развития России лежит не в военных мерах большевиков, а в уничтожении тех аргументов, которые дают возможность Чемберленам проводить в настоящий момент изоляцию России, а в будущем, кто знает, быть может и нанести ей «короткий» удар. Только укрепление «эры демократического мира» над которой так издеваются большевицкие вожди, может окончательно рассеять военную угрозу против России, устранить *возможность* войны с СССР. Но для того, чтобы эта «эра демократического мира» действительно наступила и окрепла, для того, чтобы ее благодетельные результаты распространились и на Россию, необходимо полное изменение внешней и внутренней политики большевизма, нужно активное вложение самой России в дело укрепления этой «эры», нужно вхождение России в стан мировой демократии, борющейся за общий для всех мир.

Иного выхода нет.

Никакие монголы, китайцы, афганистанцы, индусы и Муштафы Кемаль Паши не помогут России в момент ее столкновения с Западом. И никакие Ваян-Кутюрье, неспособные поддержать не смотря на все свое желание, собственных Абдель-Кримов, не предотвратят поражения России.

Только, и только, демократизация России, вложение в общее демократическое и социалистическое движение, возвращение к самостоятельности и к свободе, могут укрепить ее положение в мире, найти ей верных союзников, выбить аргументы у врагов, обезоружить сепаратистических представителей российских народов и окончательно оставить за бортом смешных и жалких ашпологетов реставрации.

Вл. Лебедев.

КУДА ИДЕТ БОЛЬШЕВИЗМ

Вопрос о том, куда идет большевизм, до сих пор носил в известной мере скорее отвлеченный характер. Он ставился теми, кто теоретически сознавал, что система большевистской политики, в данной ее уродливо-нелепой форме, бесконечно держаться не может, что рано или поздно, накапливаемые ее противоречия, вынудят наследников Ленина искать спасения в новых направлениях. — все равно в каких.

Речь шла некоторым образом о заглядывании в будущее, очертания которого, однако, всегда неясны и расплывчаты и твердой основы для суждений и выводов дать не могут.

Теперь положение в этом смысле резко изменилось. Сама жизнь с неодолимой силой привела упирающийся большевизм к историческому перекрестку, на котором задерживаться ему уже не дано. Надо выбирать дорогу — направо или налево, назад или вперед — но топтаться на месте нельзя, голову потерять.

Куда пойдет большевизм? Это уже более не вопрос грядущего, хотя бы и недалекого, а остро поставленный, не терпящий отлагательства вопрос настоящего, неразрывно связанный с данной, сегодняшней действительностью.

Правда, в России, где тяжелый камень диктатуры придавливает все жизненные процессы и не давая им проявиться наружу лишь загоняет их вглубь, как будто незаметно на поверхности признаков, предвещающих бурю.

Море российской жизни еще не взбаломучено, если не считать ряби, вызываемой разрастающейся «злосозненной» борьбой оппозиции. Но ведь это все же «спор славян между собой» происходящий на узкой арене, куда стране, широким массам народным доступа нет. Г. П. У. может попрежнему докладывать «высшему начальству», что «на Шипке все спокойно», подъяков царит везде и никем не нарушается. Однако, само мышление начальство нервничает, все более охвачивается тревогой.

Об этом свидетельствует тон большевистской прессы, речи вождей республики, несоответствующие действительности крики о военной опасности, вызывающие волны паники в населении — такое впечатление выносят и все наблюдательные иностранцы, посещающие страну «строющегося социализма». Всех их поражает одно чрезвычайно парадоксальное обстоятельство — при внешнем спокойствии страны, отсутствии каких бы то ни было революционных движений, тревожные, близкие к паническим, настроения власти.

Но не отражает ли эта кажущаяся парадоксальность назревшей, но еще не выявленной грозности положения? Не создается ли она тем, что страна еще не почувствовала во всей силе медленно развивающихся результатов тех грозных явлений, которые уже на лицо, между тем как власть со своих «командных высот» их видит уже давно и чувствует свое бессилие перед ними.

Во всяком случае, о невозможности для большевизма задержаться на нынешней его стадии особенно красноречиво говорит и самый факт наличия оппозиции и ее роста, несмотря на бичи и скорпионы правительства Сталина. Эта невозможность составляет ведь основную исходную точку всей оппозиционной идеологии.

Если Троцкий с Зиновьевым усиленно тянут налево, то потому, что в противном случае, по их мнению, неизбежен поворот направо. Направо или налево, но на одном месте стоять уже нельзя — в этом в конце концов заключается краткий смысл их длинных речей. Таков вывод, который развенчанные вчерашние небожители коммунистического Олимпа делают из своей оценки положения. Им, конечно, и книга в руки. И когда они ставят перед своей партией дилемму: или перевод машины большевистской диктатуры на рельсы мировой революции, или бонапартистское вырождение, то вопрос о том, куда пойдет большевизм, выдвигается именно их усилиями во всем своем объеме и в наиболее заостренной форме.

†

Вопли оппозиции об угрожающем большевизму вырождении в бонапартизм придали, так сказать, свежесть этой далеко не новой формуле, имеющей уже некоторую давность в русской политической литературе.

Мы не станем разбирать здесь тех доводов, которыми ее обосновывают новоявленные большевистские борцы против бонапартизма, сами не так еще давно метившие в «Красного Наполеона». Их цель, определяемая условиями борьбы за власть в рамках коммунистической партии — чисто демагогическая. Вместе с тем и самый подход к вопросу троцкистов и зиновье-

евцев совершенно иной, чем у тех, кто не исповедует «священных» догматов коммунизма. Для них ведь источник опасности не в самом факте чрезвычайно затянувшегося периода диктатуры, применяющей на практике самый крайний абсолютизм, держащей в скованном состоянии низовую народную стихию, которой неустанно, вот уже сколько лет, прививается ненависть к демократии. Они видят ее — и не только — в неправильном руководстве диктатурой, принципу которой они не менее пылко поклоняются, чем «термидорианцы» Сталинско-Бухаринского лагеря.

Против такой формулы бонапартистского перерождения предоставим спорить казенным большевистским органам. Нам в этот спор «славян между собой» вмешиваться нет надобности.

Важно лишь то, что свою теорию о возможности вступления в новый фазис «соответствующий во французской революции наполеоновской главе» Троцкий и его соратники, заимствовав, переделав ее для своих надобностей, у русских меньшевиков.

В «чистом виде» она еще чуть ли не в 20-м году была сформулирована меньшевистскими публицистами и с тех пор, особенно же в последние годы, меньшевизм уверенно рассматривает в свете этой своей теории все внутренние процессы, совершающиеся в России.

Исходный пункт ее раньше всего, конечно, заключается в меньшевистской оценке русской революции, как революции буржуазной. Нэп с точки зрения меньшевиков является не просто отказом от безумного опыта «немедленного социализма», не частичным возвращением к менее скоропалительным методам специального переустройства. Для них нэп истинная капитуляция перед непобедимой буржуазной сущностью русской революции. Нэп в меньшевистском освещении начало, пусть замедленное, пусть неполное, но все же экономического восстановления России на основах капитализма. Другого, утверждают они, в настоящих исторических условиях, России не дано и остановить уже завертеншееся в эту сторону колесо общественного механизма никто не в силах. И раз большевики вступили на путь нэпа, то им придется, как бы они ни упирались, идти по нему все дальше и дальше, выбрасывая во все больших дозах остатки своего коммунистического балласта и заменяя его капиталистическим грузом. Но на ряду с этим нэп, выхолощивая большевизм от его коммунистического содержания, в известной мере, политически укрепляет его, упрочает основы большевистской диктатуры, вынуждая ее приспособляться к жизни.

Основываясь на этих двух устанавливаемых ими фактах, меньшевики и составляют свой бонапартистский гороскоп революции.

Поскольку ничем непредотвратимое развитие капиталистических отношений в России происходит и будет происходить в условиях диктаторского режима, безправия трудовых масс при отсутствии вмешательства политически свободного пролетариата, капитализм сложится в формах недемократических, что и соответствует в смысле социальном бонапартистскому завершению революции. Большевистская диктатура, как политическая надстройка преобразовывающегося базиса неизбежно в свою очередь преобразится в соответствии с базисом. Стоя во главе страны, вступившей на путь капиталистического развития и во имя самосохранения, держа на узде трудовые массы, она должна будет все больше превращаться в орудие выносимых на поверхность волнами хозяйственной стихии буржуазных классов и отстаивать их интересы. Этот процесс уже совершается, большевистская партия в этом смысле уже бонапартизируется. Ибо, по мере того, как под эгидой большевизма капитализм пускает корни в стране, усиливается нажим растущих капиталистических элементов на некоторые звенья партии, что привело уже к значительному изменению ее политического лица. Оно, под влиянием этого нажима, сила которого будет возрастать, станет изменяться все больше и больше. Постепенно, но все усиливающимся темпом, большевизм при таких условиях не желающий отказаться от власти, но могущий сохранить в стране с нарастающим капитализмом свой абсолютизм лишь ценою своего бонапартистского вырождения, превратится из мнимой диктатуры пролетариата в истинную диктатуру буржуазии. И останется лишь поставить точку.

Каждая революция, по мнению меньшевиков, по своему переживает свой бонапартистский фазис. Русская революция переживает его в совершенно своеобразной форме, без всех тех грозных потрясений и кровавых бурь, что предшествовало ему во Франции. Она переживает его в своеобразной форме, мирным путем совершающегося, перерождения крайней максималистской диктатуры в свою полную противоположность, в диктатуру капитализма и буржуазии, борьба против которых составляла ее *raison d'être*.

Тот процесс передвижки социальных сил, который в области политики отражается нарастанием условий для бонапартизма, в России, согласно меньшевистской теории, будет отражаться в изменении политического лица большевистской партии, монополизирующей легальность и власть, пока в зеркале истории не получится уже полное бонапартистское его отображение.

Меньшевистская теория бонапартизма несомненно весьма огорчительна для правверных большевиков, но ведь и для демократии она надолго закрывает всякие перспективы.

Если большевизм способен переродиться в бонапартизм, даже перерождается уже, то перед ним открывается возможность мирного выхода, при котором диктатура его над страной не только не ослабляется, но наоборот еще укрепляется, получая опору в сильных социальных классах.

Пусть такое усиление политического абсолютизма будет куплено ценою окончательной бонапартизации большевизма. Это плохо для большевистской идеологии, но еще хуже для дела демократической борьбы в России, которая становится таким образом безнадежной.

Русским меньшевикам, — этим последним могокканам довоенного ортодоксального марксизма, всегда была свойственна крайняя упрощенность схем в применении к чрезвычайно сложным явлениям. Этим, между прочим, объясняется то всем известное обстоятельство, что все меньшевистские прогнозы и оценки событий всегда и неизменно опровергались жизнью. В данном случае своей теорией бонапартизации большевизма меньшевистские идеологи дают нам пример упрощенного мышления доведенного до крайних пределов.

Для того, чтобы верить в возможность такой «гладкой», беспрепятственной эволюции большевизма к своей полной противоположности, нужно совершенно сбросить со счетов его происхождение, роль его официальной идеологии и «красной» демагогии в деле сохранения диктатуры, и все те многообразные причины, которые, помимо уступок буржуазной стихии, позволили ему до сих пор держаться у власти.

Для этого нужно также вовсе не учитывать ни самой структуры советского строя, ни характера большевистской политики уже после нэпа, имеющего — чего нельзя забывать — свою оборотную «коммунистическую» сторону, ни того, что происходит сейчас в рядах компартии, в результате ее попыток — хотя и безуспешных — приспособиться к жизни, сохраняя свою диктатуру.

Все это вместе взятое представляет собой слишком большую сумму очень сложных обстоятельств, слишком резко противоречащих теории мирного перерождения большевизма в бонапартизм, чтобы от них можно было легко отмахнуться.

Не так давно, один из видных меньшевиков Д. Далин внес на страницах «Соц. Вестника» некоторую поправку к мрачной теории меньшевизма. Д. Далин признал, что все же на пути превращения большевизма в бонапартизм, где то, на каком то месте, которое трудно заранее указать, встретятся препятствия, о которые большевики смогут сломать себе шею.

Эта поправка значительно смягчает категоричность меньшевистского прогноза. Мы не знаем, разделяют ли ее остальные редакторы «Соц. Вестника», но во всяком случае и она предпо-

дагает возможность для большевизма, не разбивая себе головы, превращаться, до известного предела, в свою противоположность.

Так ли это однако?

Что большевистская диктатура, в своем политическом выражении имеет черты весьма приближающие ее к наполеоновской диктатуре во Франции, доказывать не приходится. Об этом и мы недавно писали на страницах «Воли России». Однако, в смысле социального содержания большевизм, даже в нынешней его стадии, ни в какой мере не может быть приравнен к бонапартизму и лишь насилуя истину можно утверждать, что он хотя бы в отдаленной степени отражает интересы классов, мечтающих об утверждении власти капитала.

Меньшевики тут заблуждаются потому, что они хотят применить классовый критерий к такому своеобразному не вмещающемуся ни в одну из ранее данных теоретических категорий, явленного, как большевизм. И что их ошибка определяет и их неверную оценку нэпа, которого они видят лишь одну сторону медали, забывая о другой.

Порок всего их рассуждения заключается в противоречащей фактам уверенности, что вынужденные уступки большевизма влекут за собой изменение его социальной природы в соответствующем направлении.

Что большевистская партия, под влиянием тяжких поражений и серой будничной действительности, столь непохожей на «красные вымыслы» пророков ленинизма, конечно, давным давно растеряла коммунистический пафос, отрицать не приходится. Мелодии ее казенных певцов звучат фальшиво и, ничьего сердца более не заживая, лишь нестерпимо режут ухо.

Верно и то, что советское и партийное чиновничество — этот остов диктатуры — в массе своей проникается духом обывательщины и заражается бытовыми настроениями нэповской эпохи.

Но отсюда до растущих буржуазных стремлений или хотя бы влияния в «генеральной линии» партии или ее программах и планах — дистанция огромного размера. А между тем приближение к бонапартизму могло бы быть только в этом.

Аналогия, которую меньшевики пытаются установить между двумя исторически столь разнородными явлениями, искусственна и в корне неверна. Для того, чтобы убедиться в этом, нет нужды в замысловатых «научных» формулах. Достаточно присмотреться к тому, что большевики делают. Их повседневная практика, их всем известные мероприятия, непосредственные

цели, на которых сосредоточиваются их усилия, тут говорят сами за себя.

Бонапартизм социальный, уже в силу своего происхождения, как движение *имущих классов* даже в зачаточном своем виде таит в себе сознательное стремление к буржуазному завершению революции, к созданию общества на началах неограниченного владычества капитала.

Не упираясь, не споря с историей, и ее велениями, не подчиняясь горькой необходимости, а по мере своего усиления все решительнее идет такой бонапартизм к своей цели, ломая препятствия, сурово подавляя противоположные тенденции и всеми мерами содействуя перевесу сильных хозяйственных элементов над слабыми, очищая для них арену жизни.

Утверждение начал буржуазного строя — доминирующая идея бонапартизма, она определяет его линию в социальной области. В этом его кровный интерес, — *этим он расширяет и укрепляет* фундамент под своей властью.

Большевизм в период своего зарождения, связанный с утопически настроенной частью пролетариата, даже в нынешней своей стадии явление абсолютно противоположного порядка.

Не содействие, пусть даже прикровенное собственнической стихии сознательная цель его стремлений, а *coûte que coûte* наперекор стихиям «строительство социализма». И в связи с этим он подавляет в меру возможности рост капиталистических отношений, в котором большевики в противоположность Бонапартизму продолжают до сих пор и с полным, конечно, основанием видеть самую опасную угрозу для своей диктатуры. Ибо если бонапартистский строй зародился на основах соответствующих развитию капитализма, то большевистский строй наоборот всей сущностью своей такому развитию препятствует. И чем сильнее оно стало бы напирать на чуждую ему «оболочку», тем больше в ней образовалось зловещих трещин. Вот почему, несмотря на все внутренние изменения, которым подвергся большевизм, как таковой, в его практике не наблюдается ни малейшего сознательного уклона в сторону доминирующей социальной идеи бонапартизма.

Большевики лишь под непреодолимым давлением обстоятельств дают выявляться буржуазным отношениям, в крайне урезанном виде, но и при том в таких формах, чтобы можно было насильственно парализовать их быстрое развитие и не позволить им нормально увеличивать свой удельный вес.

И как раз теперь, когда компартия запутавшись в противоречиях и в дебрях своей собственной изуродованной доктрины, грозит «новым экономическим маневром» в обратном направлении и объявляет генеральное наступление на частный капитал в городе и в деревне, не приходится говорить о том, что в

ее политике отражается влияние каких бы то ни было классовых интересов, а тем паче интересов буржуазных слоев. Пусть даже знаменитая речь Бухарина возвестившая, это наступление лишь чисто словесная угроза, преследующая демагогические цели, но в условиях большевистского строя даже такая угроза влечет за собой весьма реальные последствия для тех против кого она направлена.

Если попытаться дать объективную, соответствующую действительности, а не запечатленную предвзятыми идеями оценку нынешнего большевизма, то она окажется далеко не совпадающей с меньшевистской теорией бонапартизации.

О диктатуре компартии еще ни в каком случае нельзя говорить, что она искусственными цветами казенной идеологии прикрывает свое сращивание с интересами буржуазных классов и явственно кренился в их сторону.

Нет, она еще продолжает оставаться коммунистической диктатурой, вынужденной ради самосохранения делать уступки общественным отношениям, противоречащим ее принципам, но стремящаяся при этом сохранить основы своей программы и *сочетать их с делаемыми уступками.*

Пусть в результате получается нелепая смесь нижегородского с французским, пусть создаются какие то уродливые, гибридные социальные формы, лишенные духа жизни, неспособные к развитию, пусть загоняется в теснотный круг народное хозяйство. Но именно наличие таких ненормальных результатов лучше всего свидетельствует об отсутствии какой бы то ни было нормальной линии, хотя бы à la rigueur бонапартистской в эволюции большевизма.

И когда большевики пытаются — что является основной чертой их политики — свои, по возможности оттягиваемые, уступки жизни связать со своими коммунистическими целями, сочетать со своей программой, то они руководятся не столько верностью принципам, сколько реальными интересами своего господства. Сохранение во что бы то ни стало остатков коммунизма для них связывается с проблемой сохранения своей диктатуры.

Не имея настоящей опоры ни в одном классе общества, выступая с идеологией чуждой громадному большинству народа, проводя политику противоречащую естественным хозяйственным потребностям страны, большевикам, чтобы властвовать необходимо удерживать в своих руках захваченную ими важнейшую и все определяющую стратегическую позицию — командные высоты народного хозяйства. И вот почему отступление здесь создает угрозу не только «строительству социализма», но и самой монополии компартии. И вот почему командные высоты

большевики, конечно, будут защищать пока у них хватит пушек и снарядов. Но все это отводит нас весьма далеко от бонапартизации.

Политика, построенная на упорном стремлении сочетать остатки коммунизма с урезанными уступками давлению хозяйственной необходимости никакого бонапартизма еще дать не может.

Между тем только в свете этой политики проступает истинная сущность вопроса об эволюции большевизма. Она сводится к возможности сочетания дальнейших уступок, неизбежно более широких и значительных, с сохранением «коммунистических остатков» и неизбежностью основ диктатуры.

Или если угодно, наоборот, к возможности сохранения этих остатков и прочности диктатуры с теми уступками, вне которых нет выхода из порочного круга.

Вся сущность вопроса в этом.

Но все это показывает насколько еще преждевременно утверждать, что большевизм уже перерождается в бонапартизм, что такое перерождение не противоречит действительности и может открыть для него мирный выход обеспечивающий ему сохранение своей абсолютной власти.

о

Помимо меньшевистской существует еще и другая формула мирной эволюции большевизма, но без обязательного бонапартистского финала.

Эта другая формула менее теоретична, не связана с оценкой русской революции, как буржуазной. Она реалистически расценивает большевистскую политику, как она есть, не подводя ее под условные категории, но учитывает парадоксальность создавшегося в России положения.

В чем оно заключается? Оно в кричащем, постоянно углубляющемся, но тем не менее длящемся противоречии между политической надстройкой и экономическим базисом.

В России, придавленной диктатурой Кремля, медленно, ломая большевистские рогатки, все же создается то, что определяется исторической необходимостью и соответствует основным потребностям жизни огромного народа, а вовсе не то, чего хотят большевики. Создается стихийно, громадной силой, где то далеко под поверхностью жизни, происходящих внутренних процессов, новый хозяйственный и социальный уклад, совершенно непохожий на чертежи коммунистических архитекторов. Казалось бы, что при таком положении большевистская диктатура должна повиснуть в воздухе и пасть от первого мало-мальски сильного толчка. Казалось бы несоответствие между тем, что пытается осуществить власть и тем, что происходит в жизни вопреки вла-

сти, в глухой борьбе с ее противодействием, должно было бы отразиться нарастанием политической бури.

Между тем, на самом деле, ничего подобного не наблюдается. Страна спокойна, воздух не насыщен электричеством и никаких признаков создающегося революционного положения.

В этом парадокс. Но такова действительность, а из нее только и можно исходить. Отсюда и делаются соответствующие выводы. Диктатура большевиков, несмотря на ее явную абсурдность и социальную беспочвенность будет существовать еще долго, ибо ничто решительно не предвещает ее революционного свержения. Но вместе с тем и жизнь ведь не может стоять на одном месте, а ее непреодолимые веления несовместимы с большевистскими утопиями. Это противоречие разрешается уверенностью, что жизнь окажется сильнее большевиков и заставит их себе подчиниться.

Большевики останутся у руля, потому что их отсюда никто не гонит, но спасая не только корабль, но и самих себя, они вынуждены будут вести его так, чтобы избежать крушения.

В результате создастся Россия такая, какой она должна будет быть, в соответствии с ее внутренним строением и заложенными в ней возможностями; большевистская же диктатура останется, как сильная, централизованная власть, которая в громадной стране, пережившей столько напряжений, с населением еще не имеющим навыков свободы, на известный период, пожалуй, исторически необходима.

Эта формула эволюции большевизма, как видим, весьма отлична от меньшевистской формулы бонапартистского вырождения. По ней большевизм не превращается, как у меньшевиков в свою прямую противоположность, из власти выступавшей под знаком революционного пролетариата в диктатуру подавляющей пролетариат буржуазии, из «строителя социализма» в творца капиталистического строя. Большевизм не подвергается такой неслыханной метаморфозе, — он просто выветривается от своего социального содержания, сохраняя лишь свою политическую оболочку и становится властью над-классовой, своего рода политической жандармерии в стране, развивающейся согласно своим внутренним законам. Большевики из бурно-пламенных мировых революционеров, размахивающих «огненным мечем» революции, перерождаются или вырождаются в сословие правящих, в касту профессионалов управления.

Как сильная организованная и монополярная политическая группа, подобно тому каким было в свое время самодержавие, они одни только способны на ближайший отрезок времени, выполнять такую роль.

Изложенная теория распространена, главным образом, в России среди спецов и интеллигенции и пользуется там значи-

тельной популярностью. По всему своему построению и внутреннему духу это теория скрытого отчаяния и сознания собственного бессилия, теория упадочных настроений и общественной вялости. Но соблазн ее велик. Она может служить удобным оправданием для политического безразличия, для, якобы, «умного скептицизма», убивающего всякий действительный порыв, для «изъявления покорности» уже не в силу обстоятельств, а по соображениям принципиальным.

На чем, однако, основана вера в такую гибкость большевизма, которая позволила бы совместить его длящуюся диктатуру с нормальным здоровым развитием страны?

На чем основана вера в то, что большевизм способен постепенно раскрепостить хозяйственные и социальные силы и дать им свободно развиваться, не рискуя подвести под топор истории собственную голову?

Только на том, что большевики уже десять лет держатся у власти и за это время сумели обнаружить довольно значительную приспособляемость к меняющимся обстоятельствам, в чем и заключается секрет длительности большевицкой диктатуры.

Однако, аршином прошлого будущего мерить нельзя, — то что было возможно при одном положении может оказаться совершенно невозможным при другом.

Тут рассуждения по упрощенному методу аналогии — большевизм до сих пор отступал когда нужно было — значит он будет отступать и впредь — абсолютно не годится. Надо сравнить прежние условия с настоящими, выяснить в чем их сходство или различие и только тогда получится правильный ответ на поставленный вопрос.

Да, большевизм сумел во время об'явить нэп и дать задний ход своей машине, очутившейся на самом краю пропасти. Нэп несомненно спас большевиков от гибели, которая казалась неминуемой. Это был, — если угодно, гениальный отступательный маневр.

Но ведь это было отступлением от чего? От военного коммунизма, доведенного до крайних пределов. Отступать было куда и можно было проделать эту операцию, не отказываясь от своих основных боевых задач, не бросая своих знамен. Перед нэпом большевики представляли собою армию безрассудно заскочившую далеко вперед и попавшую в сферу истребительного огня.

Однако путь понятного движения к своей базе для нее еще не был отрезан. Маневр Ленина заключался в том, что он умело использовал это спасительное для большевизма стратегическое положение. Ленин во время оттянул свои войска назад, укрепив их на вторых позициях, где прямая опасность истребле-

ния уже не грозила и откуда можно было в зависимости от обстоятельств или снова перейти в наступление, или продолжать отступать, без риска непоправимых потерь. Сзади имелось еще довольно большое свободное пространство, годное для маневренных движений.

Какого же положение теперь? Теперь весь путь отступления в границах намеченных нэповским маневром уже проделан до конца. Большевики поставлены перед необходимостью отступать *от военного коммунизма, к нэпу*, как было раньше, *а уже от последних позиций нэпа куда то еще дальше назад.*

Такое дальнейшее отступление, скачек в грозное неизвестное, оно уже несовместимо с сохранением ни прежних боевых заданий, ни живой силы армии.

В этом основа кризиса потрясающая сейчас большевизм и его истинная трагедия.

Нэп, провозглашенный в момент, когда положение в России стало объективно революционным, спас большевиков тем, что открыл известную возможность для восстановления того что было разрушено ленинскими опытами и гражданской войной... Сдавленная энергия народа, доведенного до почти первобытных условий существования, естественно должна была устремиться в эту отдушину, своим стихийным напором ее расширяя. Поскольку даже при режиме жестокой большевицкой диктатуры, такая возможность была открыта и, в связи с ней, улучшались, в сравнение с прошлым, условия жизни, политический вопрос терял всю свою остроту. Чтобы не понимать этого, нужно забыть, что переживали народные массы в эпоху военного коммунизма, когда приостановились основные функции общественного механизма, обеспечивающего жизнь страны. И те зарубежные политики, которые негодовали на русский народ за то, что он не свергает большевиков и не воспринимает их непримиримых лозунгов, попросту не понимали, что положение в России перестало быть революционным, ибо нэп фактом своим упразднил те объективные причины, которые такое положение определяли.

Как ни медленен был темп восстановления, как ни слабы достигаемые улучшения, но в сравнении с донэповскими годами — а население психологически только так и могло сравнивать — прогресс был огромный. А когда такой прогресс на лицо, и дальнейшие достижения — пусть весьма относительные вырисовываются еще в перспективе — власть, будь она самая антинародная, может спать спокойно.

Странный исторический парадокс — русская история, увь

богата парадоксами, — в том заключается, что большевизм мог пережить законные сроки, потому что он раньше вверг Россию в такую бездну, по сравнению с которой нэповский строй, при всей убогости жизни, нищете и бедности масс, показался населению раем.

Нэп упрочил едва не свалившуюся было диктатуру, но прочность ее осталась в зависимости от *возможностей восстановления и улучшения связанных с нэпом.*

Теперь по всем видимостям эволюция пореволюционной России приблизилась к пределу обозначающему, что эти спасительные для большевиков возможности нэпа *уже исчерпаны.*

Хозяйственное развитие остановилось, уперлось в крайние границы, намеченные отступательным маневром большевизма. Ряд непрерываемых признаков предвещает отход назад, регресс хозяйства и как неизбежное последствие ухудшение условий жизни масс, *ухудшение в сравнении не с тем, что было до нэпа, а с тем, что было достигнуто уже при нем.*

Тут, в этих еще пока не слишком явственно намеченных процессах, заложены глубокие причины, могущие в корне изменить политическое положение в России. То, что нэп устранил своим магическим влиянием может снова возникнуть по мере того, как ослабевает нэповская «магия».

Вся беда большевиков в том, что нэп, исчерпанный до конца, представляет собой такую систему, которая в себе самой таит границы своего расширения. Но вместе с тем всякий переход через эти границы означал бы уже сдачу тех позиций, которые большевики до сих пор с своей точки зрения резонно, отстаивали, *потому что на них опирается политическая монополия компартии...*

То, что происходит сейчас в рядах большевиков, углубление их раскола и развала, моральное усиление жестоко преследуемой оппозиции, несомненное сочувствие ее критике широких слоев интеллигенции и пролетариата является по существу объективным выражением исчерпания возможностей нэпа, определяющего изменения внутреннего положения.

Придуманная Сталиным абсурдная политика замкнутого хозяйства, самоизоляции России от мировой экономической стихии, политика индустриализации аграрной страны, отделяемой рогатками от великой индустриальной империи Запада, обнаружила свои неизбежные гибельные результаты, гораздо раньше, чем можно было ожидать.

Для того, чтобы выявить тот порочный круг, в котором очутилась теперь российская экономика, нет надобности нагромождать цифры и таблицы. Достаточно нескольких беглых штрихов, дающих фон всей картине.

Советская промышленность, в отношении размеров продукции, дошла до довоенного уровня. Но этот, внешне казалось бы блестящий, результат достигнут ценою опасного замедления восстановительных процессов в земледелии — единственной базы промышленности, соками которого она должна питаться.

Российское земледелие в результате большевицкой индустриализации снова вступило в полосу тяжелого кризиса. Начавшееся под влиянием непа его восстановление приостановилось. Его производительность падает... Ни по размерам посевной площади, ни в смысле продукции оно еще не достигло довоенного уровня... Между тем сельское население растет с необычайной быстротой.

Грозное отставание сельско-хозяйственного производства от роста населения приводит к тому, что оно все меньшую долю может уделять промышленности. А последняя, в свою очередь, не получая живительной силы от своей базы, не в состоянии давать земледелию экономических импульсов способных обеспечить его прогресс. Количество товаров, выбрасываемых деревней на рынок, остается на очень низком уровне и не увеличивается, русский экспорт, главная надежда индустриализации, составляет всего 27 % довоенного уровня и проявляет тенденцию к сокращению.

Получается тот результат, что ни промышленность, ни земледелие нормально развиваться не могут. Получается порочный круг, и порочный круг тем более страшный, что хиреющее земледелие неизбежно потянет за собой вместе и промышленность, судьбы которой неизбежно с ним связаны. И столь же неизбежны грозные социальные последствия общего экономического захламления.

То, что произошло в нынешнем году, может послужить прекрасной, хотя и весьма мрачной, иллюстрацией безвыходного положения российского хозяйства. Когда под влиянием некоторого снижения цен на промышленные изделия усилился спрос на них деревни, советская промышленность сразу же испытала кризис. Она осталась без товарных запасов, что создает для нее большую опасность. И она в силу своей технической слабости не в состоянии в короткий срок воссоздать количество товаров, соответствующее тому, что было продано.

И вот, теперь, в связи с этим советские экономисты выдвигают невиданную проблему: во имя предохранения промышленности от кризисов *задержат искусственными мерами рост платежеспособного спроса деревни*. Рост спроса убивающий промышленность, — это только в абсурдных условиях советского хозяйства, где все законы экономики действуют наыворот, — возможно такое явление.

Факт неслыханный в мировой экономической истории, но факт ярко освещающий тот тупик, в котором очутились большевики вместе со своим нэпом. Ведь если промышленность страдает от роста спроса, то при его падении она уже никак развиваться на здоровых началах не может. Этот факт сам по себе достаточно свидетельствует о том, что сочетание тех остатков коммунизма, на которые опирается большевицкая диктатура с требованиями усложняющейся жизни, становится невозможным.

Оппозиция отлично понимает, это дальнейшая политика приспособления к обстоятельствам диктует правящей партии необходимость крупной ликвидации остатков коммунизма. В этом сознании весь ее пафос. Она поэтому пугает наступлением нового нэпа, который во французской истории соответствовал бы наполеоновской главе. Она поэтому и утверждает, что такой новый нэп означал бы начало буржуазного завершения революции, под руководством обанопартившейся коммунистической «головки», пользующаяся партией, как своим орудием.

Оппозиция знает, что «новая глава» означающая уже не отступление, а программную капитуляцию коммунизма, властно определяется всей совокупностью экономических условий, сложившихся в результате нэпа. Вот почему для избежания такой «главы» она не видит иного средства, кроме ликвидации самого нэпа и обратного движения к исходному пункту.

Вот почему, чтобы оправдать свою безумную платформу ей приходится противопоставлять реальным интересам страны мифические интересы мировой революции. Вот почему вся ее идеология представляет собой сплошную фантастику, какой то горячечный бред.

Взгляды оппозиции сугубо утопичны, это верно. Но их утопичность лишь отражает создавшуюся невозможность для большевиков *сохранить преемственную связь с программой коммунизма не сходя с почвы живой реальности, не вступив в борьбу с ее велениями.* Оппозиция хорошо знает экономическое положение СССР, и когда она доказывает, что при его особенностях для спасения коммунистического лица партии нет иного выхода кроме политики, которая снова ввергла бы страну в бездну холода, голода и отчаяния, то разве это не свидетельство громадных препятствий, заградивших путь эволюции большевизма.

Путь дальнейшей эволюции, могущий предотвратить надвигающийся хозяйственный крах, при сохранении тех остатков коммунизма, которые подпирают диктатуру компартии, оказыва-

ется для него уже закрытым. Его эволюция приспособления дошла до предела, где дальнейшее движение уже немислимо без отказа от этих остатков. Здесь иного выбора нет. Здесь — или-или. Способна ли даже нынешняя выродившаяся, всеми способами цепляющаяся за власть компартия проделать такой опасный маневр? Достаточно ли у нее сил, чтобы так круто повернуть корабль, не теряя из рук руля?

И здесь тот камень преткновения, о который разбиваются оптимистические теории, рассчитанные на то, что большевики будут покорно выполнять то, чего потребует от них жизнь. Авторы этих теорий упустили лишь из виду возможность наступления такого момента, *когда требования жизни вступят в противоречие с интересами самосохранения большевицкой диктатуры.*

Ленин совершил свой поворот от военного коммунизма к нэпу, имея за собой единую, несокрушимым единством сплоченную партию. Сталину пришлось бы повернуть уже от нэпа в сторону сдачи важнейших позиций коммунизма при полном развале и глубоком моральном разложении некогда «стальных когорт» большевизма.

То время, как маневр Ленина большевицкое самодержавие лишь укрепил и обеспечил ему большую передышку, Сталину, если бы он вздумал поворачивать теперь, *пришлось бы от-дать часть тех командных высот, владение которыми позволяет большевикам властвовать.*

Ни психологически, ни политически большевизм для того крутого поворота не готов и пока не способен. Наоборот, мы видим, как в борьбе с оппозицией нынешняя верхушка В. К. П. обрушивал свои репрессии на непокорных, заимствует в то же время их демагогические «левые» лозунги.

И совокупность всей складывающейся сейчас в СССР обстановки скорее всего дает основание предполагать, что ближайшим вероятным этапом большевизма будет как раз приближение к той утопической и авантюристической программе, которую проповедует оппозиция. Не в силу присоединения большинства к ее принципам, а в силу создающей для него непреодолимой объективной необходимости. Сталинская политика потерпела крах, — нужно повернуть направо или налево, а раз поворот вправо для большевизма сейчас сопряжен с чересчур большим риском, неизбежно его движение влево. При всем желании нельзя продолжать топтание на месте. Ухудшение экономического положения, которого нельзя избежать без радикальной перемены, всей внутренней и внешней политики Кремля, которые будут прозвляться во всех более грозных формах, вынудят правящую «головку» своими объективными условиями, поскольку она

не поживает сдаваться, проводить меры, идущие в направлении оппозиционной программы. Точно так же, как в свое время крайние формы военного коммунизма в известной мере определялись разрухой и распадом хозяйственного организма. Такой более вероятный ближайший этап большевицкой политики несомненно чрезвычайно обострит все внутренние противоречия российской действительности, сейчас гораздо более опасные и глубокие, чем накануне нэпа. Под ее влиянием, море народной жизни, пока еще внешне спокойное, может грозно всколыхнуться до самого дна. И когда волны его станут высоко подниматься, нынешняя нереволюционная обстановка быстро начнет превращаться в революционную, а неспособность большевизма найти выход из тупика такую «главу истории» подготавливает, — большевики рискуют очутиться в таком положении, в каком они были в громовые дни Кронштадта.

Дальнейшее уже будет зависеть от того, сумеют ли они во время, под напором народной стихии, сделать то, что *добровольно совершить им не дано* или упорствуя дадут захлестнуть себя ее волнами.

Во всяком случае, если большевики и сумеют не пропустить психологического момента, то ограничиться одними лишь экономическими уступками им уже не будет дано. *Крутой поворот, даже при наилучших условиях, большевизм способен совершить лишь под угрозой революции.* Но, когда, страна всколыхнется и придет в движение, политическая проблема встанет во всю свою громадную величину. После Кронштадта много воды утекло, сильно изменилось самосознание масс, и еще больше вся историческая обстановка. Диктатура компартии давно себя изжила и фундамент ее глубоко подточен. Она может еще держаться пока царит штиль, напора бури она выдержать уже не в состоянии.

Оппозиция, столь ожесточенно борющаяся в рядах самой компартии, в особых условиях большевицкого строя, является буревестником. Она уже чувствует дуновение еще далеких, но приближающихся ветров и мечется в панике.

Ее зловецкие крики означают, что развитие России подходит к фазису, в котором должна начаться ликвидация диктатуры тем или иным путем.

Е. Сталинский.

Заколдованный круг

Кризис сельско-хозяйственного производства в России

Площадь земельной территории в Европ. России до революции по статистическим данным 1916 г. составлялась из следующих земельных фондов:

140 милл. дес. казенной земли.

165 » » крестьянской наделной и купчей земли.

91,5» » крупно-помещичьей и удельной земли.

Казенные земельные площади находились, главным образом, в северных, редко населенных губерниях: Архангельской, Олонецкой, Пермской, Вологодской и др. В этом районе площадь земель этой категории равнялась 87% всех казенных земель Е. России — 122 мил. дес. из 140 мил. дес. Культурно-хозяйственного значения этот земельный фонд собою не представляет, вследствие чрезвычайно слабого с.-х. развития, поэтому в данном случае в расчет приниматься не может.

Площадь крестьянского землевладения до 1916 г. составлялась из наделной земли (138,8 мил. дес.) и купчих мелких угодий (26,4 мил. десятин).

Площадь крупно-помещичьих владений равнялась половине всех крестьянских земель, составляя 33,1% всего культурного земельного фонда и $\frac{1}{4}$ всей территории Е. России.

Революция должна была устранить это социально-хозяйственное противоречие, уравнивая за счет помещичьих земель малоземельное и безземельное крестьянство, увеличивая для него количество почти в $1\frac{1}{2}$ раза. Из всего помещичьего земельного фонда под эксплуатацией собственными средствами находились: под с.-хозяйственными культурами 20 мил. десятин и под лесом 30 мил дес., а остальные, свыше 20 мил десятин сдавались крестьянам в аренду. Следовательно в с.-хоз. продукции из этого земельного фонда, участвовало более 40 мил. десятин, т. е. $\frac{2}{3}$ всей по-

мещичьей земельной территории и $\frac{1}{8}$ находилась под лесом. Из крестьянского земельного фонда под сельско-хоз. культурами было 65 мил. десятин (40,1%). Итак вся культурная сельско-хозяйственная территория до 1916 г. равнялась приблизительно 105 мил. десятин, т. е. менее $\frac{1}{3}$ всей территории Е. России. Сюда не входят крестьянские луга, пастбища, пар и проч.

Колоссальная территория Сибири с чрезвычайно редким ее населением и огромным земельным запасом и лесными пространствами в данном случае не принимается во внимание, т. е. этот район России еще не испытывает тех хозяйственных затруднений, какие переживает Е. Россия, и долго еще будет рассматриваться как колонизационный земельный фонд.

Революция представила все земельные фонды в полное распоряжение крестьянства, изменив понятие о собственности и нарушив прежние права государства и владельцев на землю. В данном случае разрешался, в первую очередь вопрос социальной справедливости, получивший свое завершение в 1917 г., после октябрьского переворота, стихийным захватом всей земли. Но вслед за этим революционным стихийным актом возник другой громадный вопрос — государственной экономики, приобретающий коренное значение для судеб народного хозяйственного развития страны и в нынешних политических условиях не поддающийся разрешению.

Сельское хозяйство в России является основной базой всей государственной экономической политики. Оно является источником питания городов, промышленных районов, сырьевой базой крупной обрабатывающей промышленности и главной валютной статьей российского экспорта. По количеству занятого в нем населения Россия из всех стран мира является по преимуществу сельскохозяйственной страной.

По данным переписи 1926 г. на сельское население приходится 120 мил. душ, — на 7 мил. более против 1913 г. (увелич. на 6%), а в то время как городское население, по тем же данным, сравнялось с 1913 г. — 25,7 мил. душ. Площадь посевов главных культур (зерновых хлебов) в 1926 г. достигла 89,1 мил. десятин против 1913 г. — 95 мил. дес. (По данным Госплана). Таким образом 76 % всех жителей СССР являются сельскохозяйственным населением и менее $\frac{1}{4}$ всех жителей приходится на города. Характерно, что рост населения увеличивается сильнее в деревне, несмотря на покровительственную политику, направленную в сторону развития городов и промышленных районов и несмотря на сравнительную невыгодность занятий сельским хозяйством.

Средняя урожайность в 1926 г. выражается в 48 п. на десятину, что составляет 3,2 балла. Такая урожайность не покрывает собственной хлебной потребности и не представляет необходимого минимума хлебных запасов, который должен быть в 46

мил. пудов, т. е. 6,3 пуда на душу, на время 2 мес. До войны же хлебные запасы, в среднем, равнялись 3-4 месячной, а в Сибири даже годичной норме. Следовательно сельско-хозяйственное народное накопление прогрессивно уменьшается в то время, как рост населения увеличивается (в городах на 3,5-4%) и усиливается до крайности необходимое напряжение экспорта.

Н. Огановский дает такое заключение нынешней сельско-хозяйственной кон'юктуре: «...очевидно, что в настоящее время мы имеем недостаточно широкую зерновую базу не только для развернутого с.-хоз. экспорта, но и для полного покрытия внутренних потребностей страны в годы пониженных и даже средних урожаев... Средний нормальный урожай прокормит все население и даст экспортный излишек, на который можно ввозить машины, между тем в настоящее время не хватает собственного хлеба даже на прокормление населения, не только для нормального экспорта».

Каковы же те причинные факторы, которые задерживают рост производства и хозяйственного накопления? Несмотря на свои впечатливые различные признаки они все имеют одно начало, вытекающее из общего политико-экономического недуга. Недостаток лошадей, машин, удобрений, наличных материальных средств, и экономических возможностей.

В настоящее время наличие рабочих лошадей в С.С.С.Р. составляет 76% от цифры 1916 года: в хлебной полосе 67%, на Северном Кавказе 58%, в Казакстане 60% и т. д.¹⁾ Нагрузка на одну единицу рабочего скота составляет, в 1926 г. — 4,41 дес. против 3,58 дес. 1913 года.

Особенно ощущается перегрузка рабочего скота в экстенсивных районах, где она гораздо выше, чем в интенсивных, ввиду отсутствия с.-х. машин. А так как огромная часть с.-х. территории России принадлежит экстенсивным районам, то и ясно, что большая часть пахотной земли не может быть обработана надлежащим образом. Наличие с.-х. машин, в среднем, для обработки одной десятины равняется в 1926 г. 7р. 80 к. (в червонных рублях) против 1913 г. — 9 р. 10 к. (в довоенных рублях). Наблюдается сокращение обеспеченности с.-х. машинами более чем на 20%. Наиболее ощущается нехватка уборочных машин и молотилок.

Сейчас особенно пропагандируются трактора, их в 1926 г. участвовало в работе 23 тысячи штук. Но дело в том, что тракторами обрабатываются только округленные земельные площади, подвергнутые, так сказать, комасационной реформе или крупные государственные совхозовские угодья, крестьянские же разроз-

¹⁾ См. «Экономический обзор». 1926 г. ст. проф. Лосицкого — «Скот в 1926 г.»

ненные хозяйства тракторной обработке не могут быть подвергнуты, ввиду ее полной убыточности.

Импорт тракторов за недостатком валютных средств (экспортного хлеба), в 1926/27 году, сильно сократился. Собственное же тракторо-строение ничтожно и дорого.

Создается тракторный круг (нет тракторов — нет хлеба, нет хлеба — нет тракторов), из которого выбраться едва ли удастся.

С минеральными удобрениями дела обстоят не лучше. В настоящее время их в С.С.С.Р. употребляется всего 7-8 мил. пудов, да и то только под свеклу. До войны применялось 14-15 мил. пудов, т. е. тоже фактически ничего.

Нужны сотни миллионов пудов этих удобрений, по доступным ценам, для того чтобы можно было в ближайшее десятилетие ожидать подъема урожайности. При отсутствии же химических заводов по обработке и выработке минеральных удобрений, строить планы на широкое применение концентрированных удобрений не приходится. Придется полагаться на соки девственной почвы, запасы которой в Е. России таятся в быв. казенных землях, находящихся, главным образом, в таких климатических областях и в таком культурном состоянии, что рассчитывать на широкую их эксплуатацию тоже почти невозможно. Во всяком случае для главной массы этих земель, северного района, такая возможность исключается.

Потребность и значение искусственных удобрений встает теперь перед нынешним «хозяином» России во всей своей трагической величине и полной безнадежности. Расчеты же на все большее расширение трудового контингента и посевной площади не оправдываются, ибо они требуют соответствующего роста субсидий за счет пустой казны.

Общая сумма посевных площадей всех культур в 1926 г. достигла 97% площади 1913 года. По главнейшим сельско-хозяйственным культурным отраслям она подразделяется так: по зерновым 93% и по техническим 124%. Но процент рыночного оборота этих культур чрезвычайно понизился по отношению к 1913 году.

Так, — в городах он равняется	91,2%
в крупной промышленности	79,7%
а в экспорте, всего лишь	30,6%

Из этого видно, что экспорт не достиг и одной трети довоенного минимума.

Восстановительный процесс с.-хозяйственной эволюции идет в сторону покрытия собственного потребления крестьян, благо-

даря главным образом, влиянию цен промышленных товаров на с.-х. рынок, отношение которых к ценам сельских продуктов равно, как 2 : 1, и политике монопольных закупочных операций, создающих диспропорцию цен, или пресловутые «ножницы».

Количество мелких хозяйств возросло с 1913 г. — 18½ мил. до 25 мил. (Громан), в 1926/27 г., т. е. почти на 30%, а население на 6%. Прирост населения сосредотачивается в главной своей массе в интенсивных районах, где зерновое хозяйство носит по преимуществу потребительский характер. Сюда относятся часть Северо-Западного, Московский и Западный районы. К интенсивным районам производящей полосы относятся: Центрально-Черноземная область, среднее Поволжье, вся лесостепь Украины с Херсонщиной, Одессой и Таврией. Динамика роста сельского населения, посевов зерновых культур и количества рогатого скота по районам может быть показана следующей таблицей:

Районы	Сел. насел.		Пос. зерн. культ.		Кол. рог. скота	
	1913	1926	1913	1926	1913	1926
Интенсивные	67	72	40,1	39,9	12,4	11,1
Экстенсивные	46	47,9	55,1	49,2	15,9	11,2

Из этого можно сделать следующий вывод: сельское население увеличилось вообще, но главным образом в интенсивных районах (потребительной полосы), а посевы зерновых культур и количество рогатого скота наоборот уменьшается вообще и главным образом экстенсивных районах, т. е. в большей части с.-х. территории.

До 1913 года от 1901 года средний годичный прирост посевной площади выразился в 1,37 мил. десятин, дав за этот период 17,7% прироста (в 1901 г. посевная площадь равнялась 76,1 мил. десятин, а в 1913 г. 89,6 мил. десятин), причем в потребляющей полосе оказался минус 0,5% прироста, а в производящей полосе плюс 10,6% прироста, принимая 1901 г. за 100, т. е. обратное тому, что мы наблюдаем теперь. До войны увеличивался рост сельско-хозяйственных производителей, теперь наоборот, расширяется количество потребителей. Вот основные причины увеличения внутренней потребляемости сь-хоз. продуктов и падения экспорта.

Нужно заметить, что в до-военное время не экспорт шел параллельно росту посевных площадей, а экспорт действовал на расширение посевных площадей, т. е. посевные территории по видам культуры расширялись в зависимости от требований мирового рынка. Иначе, как мы видим, обстоит дело теперь. Россия не может приспособиться к требованиям мирового рынка, не может втянуть в орбиту его влияния свое сельско-хозяйственное

производство, окончательно попавшее в зависящее положение от потребительских внутри-государственных кризисов. В то время, как на внешнем рынке увеличивается спрос на бобовые, мы увеличиваем площадь зерновых, так как увеличивается внутреннее потребление хлеба. Увеличивается спрос на зерновые хлебные — мы расширяем площадь технических культур, ибо собственная обрабатывающая промышленность требует сырья. Это же замечается и по отдельным родам культур, напр., на мировом рынке спрос на чечевицу, мы сеем горох, увеличивается спрос на горох, мы сеем фасоль и т. д. Из этого видно, что в фазе хозяйственного и экономического развития до войны существовала какая то стихийная закономерная последовательность, какой теперь нет. Война и революция все это нарушили и привели государственное хозяйство в хаотическое состояние.

С падением экспорта падает и удельный вес с.-хозяйственных продуктов. Отсутствие внешних стимулов, оказывающих огромное влияние на усовершенствования и на предпринимательскую инициативу чрезвычайно понизили сельско-хозяйственную продукцию, свели ее до минимума внутренней потребляемости.

Из современного положения сельского хозяйства в С.С.С.Р. ясно вытекает парадоксальное заключение: чем шире будет развигаться посевная площадь, и чем больше будет для страны эта главная и основная статья народного накопления, и не только в полевой, но и в животноводческих отраслях сельск. хозяйства, потому что с каждым годом будет падать урожайность и понижаться продукция, ибо будут прогрессивно иссякать почвенные живительные элементы, повышающие урожай и создающие эту продукцию. В животноводческом хозяйстве наблюдается следующее: несмотря на количественное головное превосходство коров против до-военного, города испытывают кризис масла и других молочных продуктов, тоже с мясом и шерстью. Промышленность просто страдает недостатком всех видов шерсти.

Это еще в большей степени сказывается на технических культурах. Мы уже знаем, что, площадь технических культур переросла довоенную, а годовая потребность технического с.-х. сырья в собственной промышленности пала по сравнению с 1913 г. (7,668 тыс. пудов и 3½ милл. пудов экспорта) до 6,436 тыс. пудов.

А между тем приостановлен экспорт льна, подсолнуха и др. растительных масляничных, недостаток которых сильно ощущается в собственной промышленности. Не хватает также картофеля для спиртной промышленности.

Урожай технических культур в 1926/27 г. по отношению к 1913 г. в процентных отношениях может быть показан в следующей таблице Огановского:

По льну — волокну	84%
Пеньке	95%
Подсолнуху	89%
Хлопку	74%
Сахарной свекле	70%

Следовательно по всем главнейшим видам технических культур мы имеем депрессию продукции и особенно по хлопку и сахарной свекле, т. е. то же самое, что в полевой-хлебной и животноводческих отраслях.

Полевое производство и животноводческое хозяйство тесно связаны друг с другом, это две неразрывных с.-хоз. отрасли, одна другую дополняющие.

Если почва родит кормовых продуктов мало с пониженным кормовым содержанием, т. е. с пониженной продукцией, то уменьшится и количество молока и понизится его удельное содержание, почве возвратим вместо органических удобрений навозную видимость, которая ее только засорит. Это ясно из закона пределов почвенных производительных возможностей и слишком элементарно, чтобы на нем подробно останавливаться. Итак увеличение натуральной потребляемости и падение экспорта это не есть только одно нежелание крестьян продавать хлебные и молочные продукты. Нет. Это значит, что этих продуктов земля и нынешний молочный скот крестьянину в достаточном количестве дать не могут, благодаря отсутствию удобрения и кормов.

При наличии 90 милл. десятин посевов хлебных знаков и 25.7 милл. дуп городского населения, при нынешнем, даже хорошем урожае, нельзя дать более 200 милл. пудов хлеба для вывоза.

Для многих, особенно эмигрантских политиков, представляется достаточным политический переворот в России для того, чтобы начался стихийный рост производительных сил страны и возродилось сельское хозяйство. Это не совсем так. Несомненно, нынешняя коммунистическая хозяйственная политика является тормазом в эконоическом развитии страны, но помимо этого не менее сильным препятствием развития является и чрезвычайная отсталость нашей техники от современных требований, особенно в с.-хозяйстве, чрезвычайно бедным для промышленной территории России национальным капиталом.

От всякого правительства потребуются: отказ от прямого вмешательства в предпринимательскую сельскохозяйственную инициативу, представив ее обществу, комунам и частным лицам, оказывая им всемерную поддержку. Прекращение дальнейшего дробления культурных хозяйств в Е. России и усиление колонизации свободных сибирских земель. А помимо того поднятие национальной химической промышленности по обработке минеральных

удобрений до наивысших пределов, увеличения числа железных дорог, соединяющих отдаленные посевные хлебные районы с главными экспортными пунктами, усиление темпа роста индустрии для того, чтобы устранить диспропорцию цен и свести «ножницы».

Все это требует огромных средств, которых Россия сейчас не имеет. Нужны кредиты — их нет. Страны, обладающие свободными капиталами нынешнему правительству их не доверяют.

И вот в результате всех этих данных и образовался тот заколдованный круг, в котором очутилась современная сельско-хозяйственная промышленность.

С. Верещак.

СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР

ЮГОСЛАВИЯ И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В последнем номере выходящей в Праге «Центральной Европы» помещена короткая заметка известного сербо-хорватского поэта Густава Крклеца об интересе, вновь проявляющемся в Югославии к России. «Воля России» с удовольствием перепечатывает эту заметку.

Густав Крклец является не только талантливым поэтом, но и талантливым переводчиком. В качестве члена редакции лучшего сербского журнала «Српски Книжеви Гласник», секретаря Пен-Клуба и сотрудника ряда газет, он сделал очень много для пробуждения и оживления интереса в сербо-хорватском обществе к русской современной литературе. В «Српском Книжном Гласнике», Густавом Крклемом была переведена и напечатана «Любовь» Пантелеймона Романова — в сентябрьской книжке журнала — и переведен «Король» Бабеля, принятый к печатанию в октябрьскую книжку.

В настоящее время Крклемом подготавливается к печати сборник переводов — «Анталогія савремене руске приповетке» («Анталогия современных русских рассказов»), в которую войдут, кроме вышеуказанных рассказов Бабеля и Пантелеймона Романова, рассказы Евгения Замятина, Леонида Леонова, Сейфуллиной, Всволода Иванова, М. Пришвина, Константина Федина, Бориса Пильняка, Артема Веселого, Катаева и Михаила Зощенко.

В начале этого года Крклемом в Белграде, в литературном обществе «Обилич» был прочитан очень интересный реферат об Есенине.

Настал, наконец, момент, и Югославия долгое время политически и культурно пассивная по отношению к современной России, начала интересоваться культурными проблемами России.

Русская литература дореволюционного периода имела благотворное влияние на литературу довоенных (до мировой войны) Сербии и Хорватии, ныне политически объединенных, а до войны объединенных, несмотря на границы, духовно.

Величайшие сербские и хорватские писатели прошлых поколений находились под влиянием русской литературы, и все значительные русские писатели были переведены на сербско-хорватский язык. Еще до войны были переведены целиком Достоевский, Гоголь, Толстой, Тургенев и ряд других до Бунина и Шмелева включительно.

К сожалению, ход развития политических отношений Югославии и СССР явился огромным препятствием к выявлению в Югославии интереса к современной русской культуре и, особенно, к литературе. Огромное большинство русской эмиграции, нашедшей убежище в этой стране, доказывало, что Россия политически и культурно мертва. Относительно России создано было, таким образом, заблуждение; и никто из молодого поколения не зна, *что* делается в России и *как* делается.

Естественно, что в конце концов в Югославии, так связанной духовно с довоенной Россией, сразу ожил, временно приглушенный и задержанный интерес к современной русской культуре.

Первым из югославян, давшим непосредственные документальные сведения о жизни нынешней России, был один из выдающихся писателей молодого поколения, Мирослав Крлежа, написавший книгу «Излет у Русиу» (Поездка в Россию). За ним идет Аугуст Цесарец, со своими обширными статьями о современном русском театре. Оба эти писателя редактируют значительный журнал «Книжевна Республика».

Вслед затем в Югославии начали переводить современную русскую литературу, и одним из первых был переведен на сербско-хорватский язык А. Блок. Его замечательные «Двенадцать» за последние три года переведены три раза.

После того, как раньше было очень трудно получать книги и журналы из России, теперь дана возможность в Югославии следить за современной духовной жизнью России и непосредственно познакомиться с новейшими творениями современной русской литературы. Можно с уверенностью сказать, что молодые русские писатели завоевали позиции в Югославии. Ныне у нас хорошо знают Есенина, Бабеля, Пантелеймона Романова, Всесолада Иванова, Леонида Леонова, В. Лидина, Евгения За-

мятина, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Сейфуллину и многих других, и интерес к их произведениям растет изо дня в день.

Несколько молодых югославянских писателей и поэтов ведут деятельную работу по завязыванию близких связей с русской культурой.

В связи с этим ожил и интерес к русскому языку, и сегодня духовно ориентирующаяся молодежь вновь учится русскому языку, читает русскую литературу и приближается к стране, самой ей близкой и самой дорогой из всех стран.

Насколько раньше, к великому сожалению, интерес нынешней Югославии к нынешней России был приглушен, настолько теперь он оживает, растет, свободно, смело и буйно, и выдвигается на первое место.

Густав Г. Крклец.

„ПРАВДА О МАКЕДОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ“

НОВАЯ КНИГА КОСТЫ ТОДОРОВА

Поистине во время выпала небольшая книжка «Правда о македонской организации» Косты Тодорова. Через месяц после ее появления в свет «македонская организация» генерала Протогерова заставила говорить о себе газеты всего мира и чрезвычайно обострила и без того крайне напряженный конфликт на Балканах.

Автор книги — сам одно из действующих лиц развертывающейся на Балканах драмы. Он играет в ней крупную роль и его книжка не литературное произведение, а показания человека, не просто хорошо знающего то, о чем пишет, но жизнью своей отвечающего за написанное.

И это — в буквальном смысле слова. В момент, когда пишутся эти строки, в Париже получила телеграмма извещающая, что Коста Тодоров и его ближайший политический соратник, Александр Оббов, предназначены к убийству в первую голову и что три убийцы, члены организации генерала Протогерова, выехали в Париж. Это известие не явилось новостью ни для Косты Тодорова, ни для европейской прессы. Тодоров приговорен к смерти протогеровской чека еще во времена режима Стамбулийского.

С той еще поры происходит трагическая охота «организации» по всей Европе за этим болгарским эмигрантом, *приговоренным к смерти и официальным судом болгарской диктатуры* и неофициальным трибуналом болгарской Военной Лиги. И как не относиться к тем или иным взглядам этого человека, нельзя не подчеркнуть того гражданского мужества и того бесстрашия, с которым он продолжает в этих условиях защиту своих взглядов и борьбу за демократический строй в Болгарии и мир на Балканах.

Коста Тодоров тесно связан и с русской жизнью, с Россией. Родившись в Москве, он раннее детство свое провел в Рос-

сии. В юности он поступил в военное софийское училище, в Болгарии. Училища, однако, не окончил, уйдя в македонское четническое движение, в ту самую македонскую организацию, славное имя которой узурпировано «организацией» генерала Протогерова. Тогда это движение было направлено против общего врага всех балканских народностей — турецкого абдул-гамидовского режима. В 1905 году он отправился в Константинополь с целью взорвать султанский дворец. Был выслежен и уехал на свою «вторую родину» — в Россию. В России, в Одессе, он был захвачен и увлечен революционным русским движением, при аресте оказал вооруженное сопротивление, был судим и во внимание к несовершеннолетию присужден к 8 годам крепости, которую и отбывал в одесской тюрьме.

В тюрьме Тодоров пользовался большой популярностью, развил просветительную деятельность среди малообразованной и неграмотной массы заключенных, и упорно и много занимался собственным образованием. По освобождении из тюрьмы — за него долго, но безуспешно хлопотал герой балканской и мировой войны генерал Радко Дмитриев, командовавший на русском фронте одной из армий, — Тодоров поступил в брюссельский университет. По объявлении великой войны, пешком, вместе с несколькими русскими ушел из Брюсселя, вступил в Париже в русский республиканский отряд, с которым и делил — в одной роте с известным социалистом-революционером Степаном Николаевичем Слетовым — все горести. В то же время писал корреспонденции с фронта в ряд русских газет. Тодоров участвовал в ряде кровопролитнейших боев, получил военные награды, чин сержанта. Когда Болгария вошла в войну на стороне Турции и Германии, Тодоров, благодаря своим русским связям, в частности дружбе с В. Лебедевым, бывшим его начальником в Легионе, переводится в армию Саррая на салоникийский фронт и там с разрешения главнокомандующего уходит из союзной армии. Он не вступает в бой со своей родиной, но отправляется в нее для того, чтобы поднять революцию и вырвать ее из противоестественной для нее коалиции. Тодоров знал, что в Болгарии зрело огромное революционное движение. Его фантастический перелет на аэроплане, его поимка болгарскими властями, военный суд, осуждение сперва на смерть, затем заключение на веки в тюрьму — это все из большого революционного романа. В тюрьме он оказывается в одной камере с Райко Даскаловым и Александром Стамболийским, вместе с ними, выработывает план революции, низвергающей Фердинанда и приводящей к власти крестьянскую демократию.

Правительство Стамболийского назначает его послом в Белград — это был для Белграда быть может единственный при-

емлимый в те поры посол — и вместе с тем первым делегатом в Лигу Наций.

Фактически Коста Тодоров в значительнейшей степени направлял иностранную политику Болгарии в течении трех лет, ориентируя ее в сторону сближения Болгарии с Югославией, в сторону сближения с европейской демократией, и в целях установления действительного мира на Балканах.

Связи с Россией он не порывал, и в Лиге Наций выступал самым горячим защитником русских беженцев.

После переворота 9-го июня 1923 года правительство Цанкова давало ему понять, что он может остаться на дипломатической службе. Тодоров ответил на это самой энергичной организацией борьбы против болгарской диктатуры, и европейское общественное мнение по его разоблачениям знакомилось с положением дел на Балканах.

В 1924 году, приглашенный большевиками в Россию, он предупредив русских социалистов-революционеров, Вандервельда и ряд выдающихся членов социалистического интернационала, поехал в Москву. В результате этой поездки земледельческое болгарское движение ознакомилось с утопиями большевиков на Балканах. Тодоровым были написаны «Русские впечатления», напечатанные в «Воле России» и изданные бельгийским социалистическим издательством «Эглантин» с предисловием Вандервельда. Вандервельд, противопоставляя книжку Тодорова хвалебному докладу делегаций английских тредюнионов, отозвался о ней в высшей степени лестно и советовал читать, каждому, желающему ознакомиться с русской действительностью.

Тодоров трагически встретился несколько раз с «организацией» Протогеровова. Эта «организация» вовлекла Болгарию в войну с Германией, против которой он сражался в союзных рядах. Эта организация, вместе с германскими войсками усмирила в 1918 году первую революцию Стамболийского, участвовала в перевороте — была стержнем переворота — того режима, который он защищал. Она убила его ближайших политических друзей, в том числе Стамболийского и Даскалова, она является оплотом насильнического над Болгарией диктаторского строя, *зачто* осудившего на смерть самого Тодорова (после двух лет эмиграции!), и наконец, она сама осудила его незаконным судом на смерть. Суд болгарской диктатуры был только официальным подстрекательством к его убийству (как и его друга Оббова). И, наконец, эта «организация» стремится уничтожить дело, которому посвятил себя Тодоров, сближение Югославии и Болгарии, ставя интересы своего *политического* прихода и болгарской диктатуры выше интересов Болгарии и Югославии и интересов македонского населения.

Знакомя читателей с личностью автора, мы тем самым познакомили его с частью, небольшой, но насыщенной содержанием, книжки на французском языке, Тодорова.

В ней автор начинает с самого главного.

В течении нескольких лет, говорит в своей книжке Тодоров, устроившиеся в Софии группировки, называющие себя «Внутренней Македонской организацией» посылают в Лигу Наций воззвание за воззванием. Обращаются они с теми же воззваниями и к европейскому общественному мнению.

Они называют себя представителями Македонского народа и требуют от его имени то автономию, то полную независимость этой до 1912 г. турецкой провинции, разделенной в большей своей части между Грецией и Сербией, в результате войн 1912-18 годов.

Относительно этой «Организации», ее целей, средств ее борьбы господствует почти полная неосведомленность, и меморандумы самой «Организации» не только не способствуют освещению положения, а, наоборот, еще более запутывают их живой агитацией.

Тодоров мимоходом останавливается на вольных и невольных соучастниках той лживой агитации, которую ведет «македонская организация». Соучастники — несколько журналистов, не брезгующих ничем газет. Кроме них существуют и соучастники простофили, потрясенные призывом, обращенным к «чувству справедливости».

Зная дела прежней, до балканских войн, подлинной революционной организации, такие сочувствующие люди, думают, что они поддерживают своим участием прежнюю деятельность организации, тогда, как на самом деле ничего прежнего, кроме фразеологии не осталось.

«Именно для этих, людей заявляет Тодоров, я пишу настоящий очерк, я извиняюсь, что называю их «простофилями». Это чаще всего люди с прекрасными намерениями, искренние и благородные. Они то и обманываются недобросовестными людьми. Надо-ли приводить примеры?».

Ряд восстаний и войн освободили в девятнадцатом веке балканские народы от турецкого ига. Сначала Сербия, затем Греция и, наконец, Болгария образовали одна за другой независимые государства.

Противоречивые интересы различных европейских государств замедлили, между тем, освобождение значительной части Балканского полуострова и Турки остались хозяевами Тракии, Македонии. Старой Сербии и Албании до 1912 года.

Население большей части этой европейской Турции состояло из славян, которые находились по большей части под болгарским влиянием, благодаря болгарскому взарху, представляв-

шему в их глазах символ духовной борьбы против греческих притязаний.

Уже в 1894 году в Македонии и в Тракии (Фракии) была основана революционная Организация, которая и начала борьбу за освобождение этих поработанных народов от турецкого феодализма, глупого, порочного и грубого.

Молодые энтузиасты, вышедшие из болгарских школ Македонии или из Софийского военного Училища, нелегально передвигались по всей стране, проповедуя революцию. Другие во главе вооруженных чет атаковывали города, обращая в бегство турецкие гарнизоны.

Но уже в самом начале в революционных македонских кругах обозначались две тенденции и выделились две различные группировки: большинство боролось во имя свободной Македонии, в которой все национальности имели бы одни и те же права, тогда как меньшинство, состоявшее главным образом из офицеров, стремилось к присоединению Македонии к болгарскому государству.

Первые образовали «Революционную, внутреннюю, македонскую Организацию», тогда как другие организовались под руководством «Верхнего Комитета», находящегося, в Софии.

С этих пор борьба между этими двумя фракциями заполняет историю революционного движения в Македонии. Внутренняя Организация вдохновлялась великими демократическими и социальными принципами, которыми в ту эпоху увлекалась и вся Европа, а «Верхний Комитет» черпал свои идеи в дерзких софийского Дворца. Черпал оттуда не только идеи, но и средства.

В этой борьбе побеждала всегда Внутренняя Организация. Она и руководила македонским движением с восстания 1903 года до турецкой революции 1908 года.

Но великие руководители этой Организации погибли один за другим, часто делаясь жертвами внутренней борьбы. Их наследники не были на моральной высоте, требовавшейся стоявшей перед ними огромной задачей. Во время и после турецкой революции софийский Дворец обещаниями и коррупцией успел захватить в свои руки Организацию и ее новые вожди сделались усердными посетителями Дворца и друзьями короля (тогда еще короля) Фердинанда. С этого момента их роль в балканской политике стала такой же пагубной, как и роль их учителя Фердинанда Кобургского. Именно, они рядом кровавых покушений провоцируют балканскую войну. Их же угрозы способствуют возникновению второй войны между союзными — Болгарией, Сербией, Грецией и Румынией.

В тот момент, когда болгарское правительство было готово принять русский арбитраж и уравнивать сербо-болгарское разно-

гласие, Тодор Александров (бывший в те поры вождем организации) и Протогеров пригрозили правительству покушениями и первая национальная болгарская катастрофа была результатом не только безумной авантюры короля Фердинанда, но и действий Македонского Комитета.

Во-время великой войны те же господа, ставшие австрийскими и германскими агентами, взорвали на стратегической сербской железнодорожной линии у Валандова мост (в апреле 1915 года) и способствовали вовлечению Болгарии в войну на стороне Центральных держав.

Во время этой войны, так называемая македонская дивизия, начальником которой был генерал Протогеров, отличилась массовыми убийствами обезоруженного населения и пленников. Эта дивизия пользовалась особым расположением Вильгельма II.

Мы уже видели, говорит Тодоров, как Внутренняя Организация, после смерти своих вождей, как Гоце Делчев и Дамьян Груев, превратилась из борца за свободу и право, из борца против турецкого притеснения в орудие преступной политики Фердинанда, как ее позднейшие вожди, скатываясь со ступени на ступеньку, были во время последних балканских событий простыми агентами иностранных правительств на подобие предводителей мексиканских банд, находящихся на службе у различных английских или американских компаний.

Тодор Александров и Протогеров остались после войны настоящими руководителями организации. Привыкнув получать субсидии от различных правительств, они потребовали ее также и от Стамболийского, этого гениального крестьянина, вознесенного к власти волей народа и проведшего войну в тюрьме за противодействие вовлечению Болгарии в кровавую и бессмысленную для нее авантюру. В ответ Стамболийский открыл против них судебное преследование, как против виновников вовлечения Болгарии в войну, что было к тому же предвидено мирным договором.

Соучастие одного из судей позволило им бежать из тюрьмы, и вскоре поддержанные всеми приверженцами политики Фердинанда и одной державой (Италией), с неудовольствием относившейся к созданию мощной Югославии, они возобновили борьбу против Сербии, превратившейся в Югославию, и против болгарского правительства, друга Югославии.

Ибо не надо забывать — Стамболийский с самого начала своей политической деятельности был югославином. Он в самые тяжелые годы болгарской реакции, насаждавшей шовинизм и ненависть к Сербии, противопоставлял этой официальной доктрине свою — объединение всех южных славян в Югославию и образование еще более широкого объединения, балканского союза. В настоящей Югославии Стамболийский видел и разре-

шение македонского вопроса, незначительного по сравнению с общим вопросом об Югославии. (Тем более, что автономия и независимость Македонии, были уничтожены как раз при содействии самой македонской организации Александра и Протогеровова — *она ведь была истинной руководительницей болгарской политики по этому вопросу*, а болгарское правительство, вступая вместе с Сербией, Грецией и Румынией в войну против Турции *требовало вовсе не независимость Македонии*, а ее раздела между Болгарией, Сербией и Грецией!)

Несколько слов об *этих* лицах: Тодоре Александрове и Протгерове. Тодор Александров был сельским учителем. Волевым, энергичный, жестокий он успел стать вождем Организации, *убив большинство своих соперников в организации!*

Маниакально тщеславный, бескрупульный, предпочитающий в борьбе интригу и западню, малоинтеллигентный и неталантливый, он являлся подлинным типом азиатского деспота. Те, кого он собирался убить, окружались вниманием с его стороны, он им льстил, делал подарки; он их приглашал обедать к себе и приказывал их убить при выходе из своего дома... Многие его боялись, никто не любил. Боясь за свою жизнь, он как каждый деспот, окружал себя бандой хорошо оплачиваемых телохранителей.

Иностранцы журналисты, посещавшие его в горах, обыкновенно вводились в заблуждение — их специально подготовленной обстановкой заставляли думать, что они находятся на... сербской территории!

Тогда, как на самом деле их увозили за несколько километров от Софии и там разыгрывали перед ними настоящий фильм, показывая Тодора Александрова в полном разгаре «революционной» деятельности, среди чет и т. д. Обманув наивных людей, он возвращался мирно к себе домой в Софию и пил традиционный турецкий кофе, *который предварительно должна была попробовать жена «героя», боявшегося отравы...*

Этот роковой и жалкий человек прославился несколькими сотнями жестоких убийств и кончил тем, что был убит своими же союзниками и членами организации в ноябре 1924 года...

С 1908 по 1914 годы Александров был на содержании у софийского Дворца. С 1914 по 1918 на содержании берлинского Бальтплаца и «особой кассы» Вильгельма II. С 1919 года и до дня смерти он получал деньги от итальянского правительства, от диктатуры Цанкова и как будет указано ниже... от большевиков!

Таков великий герой современных бандитов, претендующих на представительство македонского народа, восклицает Тодоров.

Его друг, Тодора Александрова, и нынешний вождь ма-

ведонской организации, Александров Протогеров, начал свою карьеру офицером болгарских войск. В 1901 году перешел турецкую границу. Ни боев, ни потерь. За этот «подвиг» был произведен в чин майора. Таким образом, никогда не проходя стажа в рядах армии, заседал в «Верховн. Комитете» в Софии и будучи шпионом Фердинанда в рядах этой организации, этот господин дошел до чина генерала болгарской армии в 1911 году. Какая блистательная карьера!

Глупость его вошла в поговорку. Его ничтожность тоже. Он сам, как высший начальник, никогда не участвовал в боях; во время войны его использовали на роли командира, погромщиков местного сербского населения на Мораве. Командуя пресловутой одиннадцатой дивизией, он хладнокровно приказал перебить всех пленных сербов и французов, попавших в его руки... Этот факт доказан швейцарским профессором Рейсом, производившем специальную анкету.

Менее энергичный, чем Александров, он в течение нескольких лет оставался в тени, живя то в Вене, то в Риме. Утверждают, что он более, чем причастен к убийству Александра, место которого он занял.

Каковы же были и остаются до сих пор — помощники этих кровавых вождей? Группа разбойников с большой дороги, — отвечает Коста Тодоров, — как, например, Брло, ограбивший приграничное население, как Вандов, убивавший пастухов и кравший пасомые ими стада, как целый ряд других профессиональных убийц, построивших на сделанную ими «экономия» дома в болгарских городах.

Вот кто посылает воззвания в Лигу Наций... И вот кто, участвует в управлении Болгарией, на правах сотрудников болгарской диктатуры.

**

Если люди, управляющие организацией, недостойны, то их политика еще недостойнее. В Болгарии они идут вместе с самым отвратительным из всех правительств, они участвуют во всех политических убийствах, происходящих в этой несчастной стране. Они проповедуют национальную ненависть. Они перебили не только большое количество болгарских политических деятелей, но также и некоторых еврейских коммерсантов, отказавшихся платить специальную в пользу этой «Организации» подать...

Во время сентябрьского восстания крестьян в 1923 года против диктатуры Цанкова, банды Александрова-Протогерова особенно отличились рядом диких актов: — жгли деревни, насиловали женщин, избивали поголовно население. На глазах и с ведома болгарской диктатуры, поддерживающееся ею «Организация» учредила государство в государстве. Она взимает налоги,

облагая ими главным образом враждебных ее политике граждан, присуждая их платить огромные суммы и убивая их в случае отказа.

Вся деятельность этой пресловутой Организации в Болгарии характеризуется тем, что она сделала для болгарского населения ненавистным самое имя Македонца, ставшее символом болгарского угнетения, несмотря на то, что большинство македонцев, живущих в Болгарии (*и не имеющих ничего общего с организацией*) ведут жизнь вполне достойную уважения.

Убивая тех, кого они считают своими врагами или кто не вносит требуемых ими денег, эти бандиты все время уничтожают друг друга, и в одном только Петричском округе число «комитаджей», погибших за последние годы в междоусобной борьбе превышает цифру 600...

В их «внешней», как они говорят, политике, они борются теми же классическими способами: убийством и грабежом. С этой целью они посылают в Македонию вооруженные банды (пользуясь покровительством болгарских пограничных и центральных властей). Эти банды грабят крестьян и пастухов, (и «плохих македонцев»), убегая при появлении вооруженного сербскими властями в целях самозащиты населения или полиции.

Их главная цель — помешать сближению Болгарии и Югославии, провоцируя пограничные инциденты между двумя государствами.

Пойдя этим путем, они служат целям империалистической политики Муссолини, и недавно расширили поле своей деятельности и на Албанию, оккупированную Муссолини. Их представители также приняты в Риме, как и в Софии.

Орган итальянской эмиграции «Corriere degli Italiani» сообщил недавно о полетах Александра в Рим на аэроплане и сердечных приемах, оказываемых ему Муссолини.

Но когда в 1924 году, после заключения Рапальского договора между Италией и Югославией, Муссолини временно хотел как бы изменить свою балканскую политику, вожди македонской организации почувствовали некоторую холодность в отношениях к ним Рима и решили попробовать ориентироваться на... Москву. Они начали через своего представителя в Вене, Дмитрия Валахова, тогда еще консула правительства Цанкова и родственника советского посла Раковского, переговоры с большевиками. Первые субсидии были получены. Александров и Протогеров подписали манифест, продиктованный большевиками, объявляющий войну *всем* болгарским правительствам во имя балканской федерации!... Однако, этот флирт с Москвой длился не долго. Они вернулись обратно в Софию, получили еще большую субсидию от болгарской диктатуры — двенадцать

миллионов левов в год — и оплату заграничной пропаганды из правительственных средств.

Все эти факты были описаны позднее их сообщником Влаховым в книжке «Изменники Рев. Внут. Макед. Организации», снабженной рядом факсимиле документов с подписями Тодора Александрова и Протогеров.

Вся эта эпопея закончилась борьбой в рядах самой Организации и убийством Тодора Александрова и его 300 сподвижников. Во главе организации встал болгарский генерал, Протогеров.

Так действует, вредя македонскому населению, нежелающему ее знать, эта «Организация». Она преследует цели губительные для сближения братских народов. Она является кровавым пережитком прошлых времен. Она не имеет смысла существовать, ибо условия турецких времен и нынешние различны, и жизнь балканского полуострова и в частности Югославии и Болгарии (с областями населенными македонским, к тому же разноязычным, разноверующим и немногочисленным населением) идет иными путями.

Дальше Коста Тодоров излагает, задачу стоящую перед всеми народами Югославии об'единения в одно мощное государство, как когда-то это сделала Италия, и об'единение Югославии с Болгарией. Но эта тема читателям «Воли России» знакома из его статьи, помещенной в одной из книжек «Воли России».

В заключение Коста Тодоров цитирует данные анкеты произведенной известным французским социалистом и редактором центрального органа социалистической партии «Populaire» Андре Пьером и редактором парижского «Quotidien» Пьером Лебреном.

Книжке Тодорова можно сделать упрек. Она ничего не говорит о тех македонских организациях, которые отрицают политику «Организации» Тодора Александрова и Протогеров, и она мало посвятила внимания жизни самого македонского населения, преследующего совершенно отличные от Протогеровских цели. Не отмечает она также и того обстоятельства, что эта Организация, именующая себя «революционной» и поддерживаемая самыми реакционными диктатурами Европы и Балкан, не связана решительно ни с одной революционной или просто хотя бы прогрессивной европейской группировкой.

Впрочем, книжка его посвящена «Организации» и ограничивает свои рамки этим узким заданием.

В. Р.

Иностранцы о России

« ЧТО Я ВИДЕЛ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ »¹⁾

Доктор Ян Славик, дважды побывавший в СССР для изучения материалов и памятников истории Февральской Революции, напечатал впечатления о первом своем путешествии в небольшой брошюре, под названием: «Что я видел в Советской России» (Co ja sem videl v Sovetském Rusku) — 1920 г. О втором путешествии летом этого года, им печатаются очерки в газете «Narodni Osvození» (органе чешских легионеров).

Д-р Славик считается одним из лучших знатоков исторической русской литературы, а мнение этого чешского ученого заслуживает внимания, независимо от его политических оценок.

К сожалению, брошюра его не была отмечена в русской печати, между тем она представляет большой интерес, именно для русских, благодаря своеобразному подходу автора к русскому народу, к русской революции и к большевизму.

Автор суммирует основные свои мысли в следующем выводе: Русский крестьянин, замечательный «своей прирожденной сопротивляемостью городской культуре», возвращаясь после обработки его городом в деревню, становится «молекулой закодированного элемента русского народа», в котором, под влиянием экономических условий, назревал «слепой биологический процесс», требовавший своего разрешения, «не считаясь с потерями сил и крови».

Русская интеллигенция и политические партии не поняли этого и применяли к этому народу «ошибочные просветительные методы».

¹⁾ В этом отделе предполагается приводить время от времени впечатления и взгляды иностранцев о России, независимо от их политических оценок.

как то «наводняли литературу мужиком», «сходили в народ», «засучив рукава спорили целые ночи», и не видели того, что считает нужным каждый культурный западник, а именно—необходимости «малых культурных дел», которым, по словам «хорошо знающего» политический строй и условия жизни монархической России автора, «не могли помешать ни Царь-Деспот, ни мачеха-природа». Вот и получили, говорит Славик, то, что заслужили — т. е. большевизм, так как «каждый, кто помнит, что форма правления является результатом культурных отношений в стране, — поймет, что было бы чудом, если бы в государстве настолько неграмотном и лишенном традиции политического народовластия на смену царизму пришла бы Демократическая Республика. Для нее не было необходимых предпосылок».

Не полемизируя с этими утверждениями автора и его взглядом на то, что большевизм свойствен России *par excellence*, перейдем к содержанию брошюры, в которой сам автор вступает в противоречие со своими выводами, причем, это противоречие ясно выступает в его статьях «Podruhe v Sovetském Rusku», печатаемых в этом году, под свежим и уже несколько иным впечатлением.

Мнение д-ра Славика важно уже потому, что он знает русский язык и ездил в Россию не с политическими поручениями, а с научными исследовательскими заданиями. Его рассуждения для нас имеют ту ценность, что они исходят из нового и свежего источника, от ученого славянина и являются результатом непосредственных наблюдений. Поэтому наряду с изложением его взглядов, мы приведем наиболее интересные выдержки из его статей, по возможности во всей их полноте.

«Большевицкий социальный взрыв, пишет автор, вначале был истолкован, как дело рук наемных авантюристов. После краха Германии, когда Россию некому было «предавать», было принято другое упрощенное толкование событий. Говорилось о полуумных фанатиках... проделывающих чрезвычайно вредные эксперименты, отбрасывающие Россию, народ, социализм далеко назад. Но после десятилетнего существования советского режима эра большевизма в России обрисовывается довольно ясно. Выясняется прежде всего, что форма, так называемого коммунистического государства в России является естественным, (по своим военным и политическим методам столь схожим) звеном развития, заменяющим царизм. Диктатура пролетариата со смехом теперь называется красным царизмом. И те, кто этим аргументом против советской власти пользуются, не подозревают, что этим сарказмом они большевизм делают естественным наследником царизма. Для тех же, кто знает, что форма власти есть плод культурных условий, очевидно, что было бы неслыханным явлением, настоящим чудом, если бы царизм в стране с такой низкой грамотностью и без политических традиций сразу перешел к демократической республике, для которой не было данных. Нынешние носи-

тели власти, занятые своими схоластическими целями, не совсем понимают, что их форма власти органически уже срослась с прошлым режимом. Точно так, как не видят, что культ набальзамированного Ленина вырастает из молитвенного православия, а не из марксизма».

«За несколько дней перед отъездом в Россию, пишет д-р Славик, на собрании эмигрантов в Праге раздавались слова: замученная Москва! Это противоречило тому, что я увидел. Москва хорошо обута и одета (только кажется, что москвичи свой гардероб получили за дорожную цену от самого несолидного нашего ярмарочного торговца), имеет также дорогие и редкие жизненные предметы (кроме продуктов), имеет и большие проблемы, но нельзя назвать замученным город, который после столь ужасных лет возвращается с утроенной энергией к жизни, где население растет американским темпом, по улицам двигаются толпы праздных людей, не волнующихся, как в каждом миллионном городе. Есть класс, который может говорить о несправедливости и прочем, но это незначительное меньшинство «бывших людей», которые едва ли имеют право выдавать свое мнение об освобождении от большевистской власти, за мнение всей Москвы и тем более всей России. В огромном большинстве жителей Москвы и Петрограда я не почувствовал признаков нетерпеливого желания свержения нынешнего режима. За границей представляют, что огромное большинство жителей не мирится с большевистской властью, думает об освобождении. Это стало там для многих аксиомой... Большевистский режим, говорят, давно бы пал, если бы не держался насилием. Но русская история знает эту легенду. Утверждали же это революционеры и в отношении царизма, когда не могли с ним справиться. Заявляли миру, что царизм держится на штыках, но неизмеримо более сильную опору, скрывавшуюся в церковном православии, упускали из виду. Так и теперь. Не хотят признать, что имеются силы, поддерживающие советскую власть сильнее, чем террор. Когда вы слышите — гражданин! товарищ!... вы чувствуете, что это есть психологический подъем, бьющий в глаза на улицах, это есть упоение иллюзией гражданской свободы и борьбы за спасение человечества. Это есть сила веры, которая всегда была основой теократического царства, где царь, дворянство и иерархия выступают в роли вождей на пути к богу, как и теперь «мозольная аристократия» творит свою миссию вождя по пути к социализму. Если мы хорошенько продумаем врожденный альтруизм русского человека, привитую ему мессианистическую психологию, что русские терпят ради справедливого устройства человечества, это укажет нам более прочный фундамент большевистского царства, чем штыки и чрезвычайка».

Этот психологический момент автор особенно изучил на паломниках к могиле Ленина. «Когда мавзолей открыт, говорит он, выстраиваются очереди в сотни и тысячи людей... Присоединяюсь и я к змеиной толпе, вползающей главным ходом в подземелье... Медленно

двигаемся. Мой сосед несет двухлетнего мальчика и громко учит его фразе: «Мертв Ленин, — живет ленинизм»... «Когда вернешься в деревню, расскажешь ребятам, что видел Ленина, да?... Когда вошли в мавзолей, раздастся окрик: «Здесь молчать!» Я был благодарен этому предупреждению, ибо даже я, неверующий, не мог без волнения приблизиться к праху человека, каких мало знает история. Оставим будущему поколению судить Ленина, но сегодня могущество его индивидуальности доказывается неоспоримыми и ощутительными фактами. Под стеклянным копаком, на красной подушке покоится голова Ленина, освещенная ниспадающими лучами света. Благодаря египетскому искусству и «режиссерам нового общества» я видел живого Ленина. Семь раз я побывал в мавзолее и много раз изучал толпу, ожидающую своей очереди на вечернее молитвенное бдение. Ни где так ясно не чувствуется вся тяжесть позиции строителей социализма, в России и торжества фетишизма православия, как у могилы Ленина». Эти психологические моменты, прочувствованные д-ром Славиком, видимо, оставили на нем самом сильный след. Через всю брошюру в дальнейшем проходит эта религиозно-психологическая нить. «Видел я в России огромные плакаты с изображениями Маркса и Ленина, с гордостью всматривающихся с небесной выси на дымящееся море фабрик. Что бы сказал сам Ленин, увидев свою мумию в роли мощей святых чудотворцев?... рабочих, — паломниками к его трупу?... Из его двадцати томов сочинений ответ должен быть формулирован так: такая поддержка социалистической веры есть незаменимая работа для религиозно-поповской реакции, — поломничество к его гробу не доказывает никакого прогресса социализма. Это есть лишь проявление скрытого идолопоклонства православия. Нет разницы между религиозными культурами, обоготворяющими набальзамированную голову Аписа, мощи монаха или препарированную голову вождя. Он должен был бы позавидовать Плеханову, который лежит на Волковом кладбище, спокойно, под камнем с истинно марксистской надписью: «Соединился с землею!» Две детские глупости большевики совершают, мы это знаем. Первая — православную душу изменяют вскрытием мощей и вывешиванием надписей: «Религия — опиум для народа!» Вторая — материалистическое понимание истории демонстрируют показыванием мощей вождя в мистической декоративной обстановке подземных катакомб».

Дальше автор описывает свои впечатления от похорон Джержинского, свидетелем которых он был, пишет о состоянии исторических памятников, о Петроградских и Московских кладбищах, и о дворцах и музеях, которые он изучал, о нравах, о еврейском влиянии, о состоянии Царского Села и пр. Эта часть заканчивается вопросом: «Какова будет судьба этих людей и каков суд истории над ними?» Автор отвечает: «Если большевики ничего не значат в истории развития мысли, они бесспорно великолепные представители революционной энергии». И дальше — «Никакие насмешки над неудачами советского ре-

жима не могут скрыть того факта, что с недостаточными средствами и в неблагоприятной атмосфере было совершено гигантское дело». Такovy противоречивые впечатления автора от первой поездки в Россию. Посмотрим, какими они стали после вторичного путешествия. Они изложены в статье — «Вторично в Советской России». Статья еще не закончена. Приведем выдержки из очерков под заглавием: «Как пугают народ нойной?»

«Когда летом в Негорелом я вновь вошел в советский поезд, я случайно оказался в обществе трех чиновников какой то кавказской делегации, возвращающейся с запада. Прекрасно одетые, с налетом капиталистической Европы... Моя особа им мало мешала. Кавказцы вели разговор на своем родном языке и в течение дня спорили, совершенно меня не замечая. Только к концу нашего пути оказалось, что русский язык есть их второй разговорный язык. В Можайске, на последней остановке скорого поезда, перед Москвой газетчик закричал: «налет на Аркос. Полицейский обыск в Советском Торгпредстве в Лондоне!» Один из грузин купил «Правду» и вслух читал об известном Англо-Советском инциденте. Товарищи слушали молча первые известия о том, как лондонские полицейские проникли в дом акционерного общества, о насильственном вскрытии сейфов и т. д. Когда же дошло до замечания английского политика, что никто не знает, где кончаются прерогативы советской власти и где начинается политика III Интернационала — раздался взрыв смеха. Я своими ушами услышал это «го-го-го!», которое, как я всегда утверждал, раздается в большевистских клубах, после каждого ответа Чичерина на запросы Запада о коммунистической подрывной работе и его заявлений, что большевистская власть есть верх корректности и не ответственна за деятельность III Интернационала. Каждый большевик знает, что это ложь, каждый большевик знает, что никто в мире этому не верит, но что в послевоенное время трудно отвергать даже смешные объяснения большевистской власти, это они тоже знают». Дальше идет толкование — почему это так. «В Москве так привыкли оперировать этой чепухой против жалоб европейских государств, что даже забыли о ее происхождении. Формула «Советская власть не есть III Интернационал», есть плод военной слабости большевистской революции, которая после победы над народом в России не могла отважиться на открытый бой с Западной Европой. Низкая военная техника и не подготовленный людской материал, делали невозможным, чтобы русский «рабочий» напал на буржуазный мир, как когда то якобинцы отважно вступили в состязание с феодальной Европой». В этом пункте, хотя уже и достаточно избито, мы считаем нужным привести подробные выдержки из статьи потому, что это говорит мнительный европеец, не особенно доверчивый к утверждениям эмиграции. «Многие главари, пишет дальше д-р Славик, (например, Бухарин) после октябрьской революции, настаивали на объявлении войны всем буржуазным государствам. Ленин называл тогда это левой глупостью и указал, что в западной Европе социальную революцию дол-

жен совершить сам европейский рабочий. Если же этого не случилось, сразу, под ударом русской революции, нужно этого добиться окольными путями. Кризис капитализма и пролетарская революция должны быть вызваны уничтожением колониального господства Европы, прежде всего Англии... И вот, когда оказалось, что из большевистской революции ничего не выходит, начинается энергичная работа по «пробуждению» азиатских и африканских народов. Формально эта мировая задача была поручена коммунистическому интернационалу. Англия скоро почувствовала эту работу в Египте, Персии, Индии и, наконец, Китае... И в конце концов и в самой Англии. Но в Англии же и знали, что такое революция и где ее слабость. В царстве великих психологов и социологов знали, что значит война против «государства рабочих и бедных крестьян», особенно при наличии утомленных еще Великой войной армии и флота. В Англии также знали, что долго поддерживаемое недовольство скоро надоеет населению, утомленному революционным темпом и подорвет доверие к спасителям.

«На этом основании и построена тактика Англии по отношению к советской России. Никакой царь не снес бы такого оскорбления, какое нанесла Англия СССР.

«Но что могли сделать новые влстители России? Что могли бы они предпринять, если бы Англия наплевала самому Чичерину в физиономию?... Самодержавие объявило бы войну и гнало бы народ на бойню. Православие этому способствовало бы: «Война есть кара Божья — нужно терпеть». «Войну царь объявляет, надо слушаться».

«Под каким же знаменем теперь вести народ на убийство и самопожертвование? Под лозунгом помощи угнетенным пролетариям капиталистических стран? Под красным знаменем? Советские правители слишком хорошо знают, что красные хоругви, эффектно развивающиеся на улицах, не воодушевляют теперь русского крестьянина. Они получили с этой стороны поучительный урок с Польшей. (Имея на бумаге 41½ миллиона солдат, под Варшавой они располагали всего лишь 50 тысячами).

«Ныне советское отечество обладает несравненно лучшей армией, но и теперь эта армия не могла бы вести наступательную войну. Это значит, она не может вести войну победоносную, это значит — она может лишь служить орудием для карательных целей над безоружными. Но Москва зато имеет сильно действующий оборонительный лозунг. Маккиавели указывал, какая твердая позиция создается, когда властелин сможет большинство населения связать с своими материальными выгодами. Тогда этот слой его поддерживает из боязни потерять то, что он себе присвоил или получил по воле власти. У большевиков средством для того чтобы сохранить себе поддержку, служит внушение народу настроение этой опасности».

Другими словами автор хочет сказать, что советская власть создает особую психологию в населении, внушая ему, что октябрьские

завоевания есть присвоение чужого, и, борясь за свое существование, пытается на этой идее построить базу поддержки, втягивая огромные слои населения.

«В Москве я встретил демонстрации, с огромными плакатами, на которых не видно было и признаков протеста против нанесенного правительству оскорбления, а лишь крик: «рабочие и крестьяне, Англия хочет идти на вас, чтобы посадить вновь помещиков, чтобы отнять от вас то, что революция (читай советская власть) вам дала (хотя Англия и не думает нападать)».

Но посмотрим, как к этому относится рабочий люд.

«Сейчас же при отъезде с Белорусского вокзала мой биржевой автомобиль натолкнулся на шествие со знаменами. Я попросил шофера ехать в этом же направлении. Услышал резкое «нельзя». Автомобиль понесся по окружным бульварам. Но и на этом широком пути мы все время встречали шествия с красными плакатами. Мне очень хотелось видеть рабочие батальоны. Я не видел их на улицах в первое свое путешествие. В прошлом году в Москве я был свидетелем похорон Дзержинского, а в Петрограде видел манифестации в пользу английских углекопов. Теперь же кроме указанной демонстрации московских рабочих против «твердолобых лордов», наблюдал в Киеве уличные протесты против Варшавского убийства Войкова и отзвуки их застал в Харькове. И вот сравнивая с нашими рабочими шествиями, я вижу, с каким тяжелым настроением идут люди.... Московские кинографы показывали фильмы со снимками демонстрирующих рабочих 1-го мая. На полотне вижу марширующих наших рабочих из Кладно (горный район), а за ними идущих Петроградцев... Это не цвет чешского пролетариата, но и то замечается огромная разница и в бодрости марша и в душевном настроении, отражающемся на лицах наших, и ничего не отражающих, тяжело ступающих русских. Петроградские рабочие, передовая активная армия!.. Нет, это не фаланга борцов за лучшее будущее, это процессия утомленных паломников! Такими я видел их героев октябрьской революции. Так это воспринимали и советские граждане».

И вот автор задает себе такой вопрос: «могут ли московские рецепты помочь европейскому пролетариату в его борьбе против буржуазии и социал-патриотов, если классы пролетариата и буржуазии на Западе так отличны от русских?»... И дает на это отрицательный ответ, ибо, по его мнению, «кроме расовых и культурных моментов» есть еще причина, отделяющая советское уличное революционное движение от европейских массовых рабочих выступлений». Прежде чем указать ее, он пытается проникнуть в душу психологии советских масс. «Ежедневное, говорит он, по всякому случаю, демонстрирование и митингование в СССР есть неизбежное следствие всего того, чего есть много. Сколько раз за свое 10-ти летнее господ-

ство большевики выводили народ на улицу! Сколько раз в год рабочие там сгоняются на митинги для того лишь, что бы выслушать очередную речь докладчика!... Только профессиональный революционер может предполагать, что таким способом можно удержать народ в перманентном революционном кипении. Как везде, так и в России душа толпы подчинена психологическим законам: накопится ли революционный заряд, — легко привести в движение народные массы, как мы видели в свое время и у нас, но с постепенным испарением революционного духа гаснет и пламенность речей, падает и душевный подъем — начинается время рафинированной демагогии, которая оказывает уже лишь короткое воздействие на толпу. Это есть период усталости после взрыва революционной эмоции, период, дающий консервативным хитрецам хорошую почву для успеха, как перед этим революционная атмосфера создавала почву для радикальных новаторов. Но ни история, ни психология, не знают перманентной революции, наоборот, обе эти науки приводят к неизбежному, вопреки нашему стремлению — к реакции». К этому нужно лишь добавить, что советская реакция в корне отличается от европейской. В то время, как в СССР она углубляется самой «революционной» властью рабочих, в Европе, наоборот, она встречает сопротивление пролетариата. Это и есть главное, почему советские тактические рецепты для европейских рабочих не годятся. Это автором сказано неясно, но с этим надо согласиться.

В Киеве, пишет автор, я спросил кондуктора трамвая: «Вы всегда ходите такими сонными на демонстрациях?» В ответ получил лаконичное «надоело». Это «надоело» в первое свое путешествие д-р Славик не заметил. Он, как и всякий новый человек, видел лишь внешнее проявление советской власти и судил об апофеозе большевизма и на этом основании составил себе представление, что большевизм есть нечто национально присущее русскому народу. Дальнейшее покажет, что демократия не есть достояние избранных наций.

«Явный отпечаток отвращения к шествиям лежит и на тех, кто к революции примкнул сознательно и казалось-бы должен ее благодарить... Внешне все уличные шествия могущественны и импозантны. Но поражает огромное количество кожаных портфелей, ясно указывающих, что вышли на демонстрацию прямо со службы, где для этого рабочее время сокращается. Один ответственный служащий фабрики в Москве, представитель и защитник заслуг советской власти, сказал мне: у нас вообще никаких демонстраций нет. Есть только лояльные выступления по команде. По приказу — идем демонстрировать против Англии, по приказу идем и на прхороны... и в результате, принимая во внимание, что рабочий там есть класс правящий, а его фабричные органы есть, собственно, звенья «диктатуры пролетариата», который держит в руках государство, вы видите, что каждое массовое проявление «пролетарского негодования» по-

лучает в конце концов опереточный налет. Такой вид имела «буря» протеста советского пролетариата против английского обыска в Советском доме в Лондоне.

А во время этой «бури», по словам д-ра Славика — «персонал английского посольства играл в теннис».

С. В-к.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

О РУССКОЙ МОДЕ И СТРАХЕ ПЕРЕД РОССИЕЙ

(Из французской послевоенной литературы)

Как это ни покажется странным на первый взгляд, но мода в литературе имеет, если и не такое же значение, как, скажем, в истории костюма, то все же весьма и весьма значительное. Разница заключается в побудительных причинах: если у костюма и близких ему отраслей искусства мода диктуется с одной стороны довольно легкомысленным стремлением все к новым впечатлениям и переменам, а с другой выгодой предпринимателей, торговцев, которые основывают свое благосостояние на доверчивости и тщеславии масс, то в литературе и иных искусствах имеющих не только эстетическое, но и моральное основание, зарождение моды происходит совместно с протестом против рутинности, изжитой формы и с желанием проложить свой новый путь. Иными словами дело обстоит так — художники или чаще группа художников, неспособных удовлетвориться уже существующим, находят нечто новое, это новое из снобизма или из сочувствия подхватывается публикой, второразрядные художники разменивают эту же идею на более ходкую монету, которая чем дальше, тем больше проникает в ширь, а не вглубь; часто такая художественная идея продолжает долго жить в форме моды, в то время как в области идей идут уже давно иные бои и достижения. Наиболее разительным примером в прошлом может служить романтическое течение, продолжавшее существовать, как популярная мода, потеряв при этом давно всю свою внутреннюю остроту, а отчасти и смысл существования. На наших глазах почти подобное произошло, но с еще большей быстротой с кубизмом, который в почти неизменной форме был перенесен из станковой живописи в прикладное искусство, а оттуда скатился к

самым безличным и, в большинстве случаев, безвкусным своим массовым выражениям.

Это о моде, а теперь о типе той моды, которая довольно значительной полосой проходит во французской литературе послевоенного периода. Иностранец, как противоположение не отдельным художественным единицам той литературы, в которой он выводится, а целому — собирательному типу народа, существует во всех новейших европейских литературах. Так в России мы находим Штольца у Гончарова, Инсарова у Тургенева (привожу намеренно всем известные примеры), в Англии Диккенс во множестве романов давал эпизодические, но ярко очерченные типы итальянцев и французов, последнее настолько разительно, что во Франции недавно вышла целая книга Delattre «Dikens et la France». Особую весьма интересную категорию иностранцев, специально русских, дала чешская литература, как в так называемой «легонерской литературе», возникшей после непосредственного знакомства с Россией, так и в более ранней, непосредственно тяготевшей ко всему русскому. Что касается самой Франции, то ее литература дала прямо колоссальную галерею иностранных типов, начиная с воображаемых разумных персов 18-го столетия, счастливых дикарей первоначальных романтиков, которые позднее начали увлекаться итальянцами и особенно испанцами, наконец пришла очередь «несчастных, но гордых поляков», закончившаяся с одной стороны безумными русскими князьями, а с другой не менее безумными революционерами, ведь вот даже такие писатели как Золя и А. Франс не могли в наиболее патетический момент обойтись без русского анархиста и графини.

Мое первое знакомство с русскими во французском изображении» Жюль Верна; там изображается, как русские убо-

» Жюль Верна; там изображается, как русские убогой пограничной избушки едят хлеб из коры, смазывая его якрой. При всей моей тогдашней литературной и жизненной неопытности для меня этого было вполне достаточно. Дальше были: неудачная «Параша Сибирячка» прекрасного во всех иных случаях Ксавье де Местра, «Maitre des armes». А Дюма и еще кое кто похуже. Казалось бы война должна была многое исправить, революция заставить призадуматься, а обе следовательно помочь изучению в главных чертах тех русских, которые причиняют столько хлопот писателям; огромная волна разнообразнейшей эмиграции тоже могла дать довольно богатый материал, за которым кроме того не приходилось далеко ходить. Имеющиеся на лицо произведения, однако, более чем плачевны — уровень (и делаю исключение для двух трех вещей в роде E. Burnet «La porte du Sauvageur» или же A. Salmon «Prikaze») всего того, что пишется во французской прозе и стихах о русских, не воз-

выпадает над понятиями оперетки или так называемого «русского фильма», где выступают князья Гришки и княгини Малашки. Я не мистифицирую читателя, говоря, что несколько лет тому назад в Париже в одном из театров шла пьеса «Le nitchevo», где великие князья были на революционном собрании в высоких сапогах, причем во время речей шелушили семечки и пили водку; апофеозом же этой ерунды были похороны жертв революции, при которых пелась песня «Рече да стогне Днипр широкий». Очень похожий сюжет я встречала потом в одном популярном романе, где выступали Айседора Дункан и С. Есенин, оба опять в сапогах, с семечками, вечно пьяные.

И вот в то время, как другими, более глубокими путями русская культура, декоративное искусство, театр и особенно литература проникают в Европу в частности во Францию, оставляя там значительные следы, рядом с этим пышно и неудержимо расцветает мода на все в «Genre russe». Начиная с кабаков Монмартра: «La Troïka», «Le cosaque fidel» через модные дома, где делали блузы «à la Raspoutine» а в следующем сезоне «à la bolchevique», эта волна докатилась и до литературы, где многое вырабатывается тоже сериями, как модные сумочки или платочки, в зависимости от спроса широкой публики. Неведение о России военной и после военной во французских широких кругах почти абсолютное, превзойти его могло лишь невежество аналогичных английских кругов. В то же время жадное до новинок общество воспиталось массой сенсационных новостей и слухов, выработавшихся или в редакциях бульварных газет, или же частью самой крайней правой русской эмиграцией, которой выгодно было давать ложную и искаженную картину. Что касается писателей, желавших действительно постичь как русские события, так и русского человека, то их до отчаяния мало (без оговорок можно указать лишь на Бюрне с его романами — «La porte du Sauveur» и «Loin des icones» и отчасти Кесселя). Большинство шло за сенсацией, за матерьялом, действующим экзотически сам по себе, ибо нужно признаться, что Россия и вообще славянские страны остались для писателей столь же далекой и забавной экзотикой, как скажем, центральная Африка, о которой в последнее время столько пишется на французском языке. Повторяю, для большинства писателей русские темы являются привлекательными уже потому, что действуют на читателя сами по себе, без какого либо усилия нищущего, который подает их почти в сыром виде. Далее, уже упомянутый экзотизм позволяет тому же писателю не изучать основательно среды и условия жизни, а положиться исключительно на слухи и еще больше на свою фантазию. Повторяется та же история, что была, например, в живописи, когда евангельских или античных героев одевали в костюмы современные художнику, или в той же литературе, скажем, французского

ложноклассицизма, а потом раннего романтизма, когда персы и римляне выражались, как придворные, а обитатели девственных островов чувствовали самым утонченным и модным образом. Кажалось, что возвращение к подобным методам, (конечно, бессознательно, так как сознательность всякую условность может превратить в прием, уже не возможно), однако имеющийся на лицо матерьял доказывает обратное, подтверждая при том, что вершина определенного направления с одной стороны замыкает его художественные усилия, а с другой порождает продолжателей более низкого разряда, стремящихся воспользоваться наиболее популярными результатами, дабы сделать из искусства просто ходкий товар. То, что сейчас является русской модой во французской литературе, и есть оборотная сторона того большого влияния русского искусства на европейское, существования которого ни в каком случае нельзя отрицать. Этим можно объяснить, что большинство произведений данного рода принадлежит к довольно низкому художественному калибру, даровитые писатели, как Бюрне, Кессель или даже Де Траз со столь напумевшим в последнее время романом «L'esogché» — связаны с этим течением скорее тематически, чем эстетически и идеологически, а в искусстве это, как известно, наименее крепкая и постоянная связь.

Произведения такого рода имеют кроме художественного и иной интерес. Второ — и третье разрядная литература отражает обычно более точно ход жизни, чем это делают исключительные писатели в своих лучших произведениях. Средний ум и средний талант не только легче отражают всеобщность, но они правильнее ее выражают, так как в современном разрезе они являются как ее создателями, так и ее толкователями. Для меня ясно, что мода на русское во французской литературе является не только результатом грандиозных русских событий, но и стремления масс к иной жизни. Однако, здесь кроме центростремительной есть и центробежная сила, а именно почти панический страх перед непонятной славянской массой еще больше культурной, которая начинает просачиваться в Европу.

Французские произведения, касающиеся русской жизни или имеющие русских в качестве героев могут быть прежде всего разделены на такие, действие которых происходит в 1) России, 2) за границей и 3) фантастические, где русские являются лишь символом (М. Орлан — Кавальер Эльзи. Ла Венюс интернациональ, П. Морон — La croisade des enfants). Если вести дальнейшее подразделение, то и первую группу приходится дробить по разным направлениям, например: а) бульварно-кровожадные (De Kobra — La madonne des sleepings, J. Tierre — Le bolchevique, J. Renoux — L'homme au masque и т. д.), б) объективно-описательные (E. Burnet — La porte du Sauveur, P. Morand

— Je brûle Moscou, и Le musée Kogatkine и т. д.,¹⁾ второй отдел подразделяем: а) для юношества (Greville — «Sonia», «Petite princesse» и т. д.), в) преобладающе эмигрантские (B. Burnet — Loin des icones, F. Carco — Verotchka l'étrangère, Kessel — L'été du capitaine т. д.), с) со смешанной франко-русской средой (R. de Traz — «L'escorché», — P. Morand — «Geleste Iulie» и т. д.), наконец особый отдел составляют романы об отдельных личностях, столь излюбленные теперь романы биографии, которых удостоилась из русских пока лишь М. Башкирцева (A. Cahuet, — Moussia ego же Le Masque aux yeux d'or, Bataille — Le phalène и некоторые другие). Само существование последнего отдела чрезвычайно интересно и знаменательно, ибо М. Башкирцева в истории развития русской женщины, не говоря уже об искусстве, занимает довольно скромное место. Она французские умы настолько поразила и пленила, что они утверждают, что М. Башкирцева принадлежит всецело французской культуре, несмотря на то, что все их же собственные описания этой одаренной и необыкновенной девушки абсолютно противоречат основам и рамкам французской культуры. М. Башкирцева одна из тех многих русских девушек прошлого столетия, выпехивших из богатой, свободной дворянской среды, большинство членов которой были способны заниматься искусством, литературой и гуманитарными науками; правда из ее лона вышли почти все русские гении, но правда и то, что кроме них были еще легионы претендентов в гении, вся энергия которых уходила в устройстве артистической и художественной жизни.

М. Башкирцева это идеализированный тип русской женщины, который встречаем в различнейших вариантах во всех тех отделах, на который мы разделили обрабатываемый нами материал. Вообще основой литературных русских типов является так называемая «славянская сложность», которая в действительности ничто иное как невозможность разобраться в ряде бросающихся в глаза явлений. Русский вообще, русский же за границей в частности имеет склонность к преувеличению и даже порой к тартаренству, когда видит, что все им сказанное принимается за чистую монету. Отсюда сейчас в русской эмиграции все эти княгини-горничные и царские адъютанты-шоферы. Один остроумный французский критик подсчитал, что судя по литературе, у царя должен был быть целый полк адъютантов. Явление того же порядка выражается в зависимости от области, в которой выступает данное лицо в различных формах в искусстве, все кабаретные танцовщицы бы-

¹⁾ Сюда же при известной снисходительности можно причислить романы Ж. Кесселя: «Les steppes rouges» и «Les rois aveugles».

ли примабалеринами «царского» театра, в торговле все коммивояжеры и мелкие торговцы фабрикантами и первогильдейскими купцами. По аналогии и в представлении французов (в действительности же не только французов, но и большинства неосведомленных иностранцев) все революционеры князя или по крайней мере дворяне, а все советские комиссары безграмотные кучера. «Славянская сложность» в действительности весьма мало соответствует национальному характеру, что могут подтвердить кроме русских и поляки, а за последнее время и чехи, которые тоже начали попадать в иностранную литературу. «Славянская сложность» это плакатное представление о человеке, свойства которого выделены и преувеличены; так по отношению к русским выдвигается и подчеркивается их размах — в еде, питье, курении, эротике и т. д., революционность, sentimentalность, лень, беспечность и еще многое, что в общем по каким то неведомым законам должно давать особое экзотическое очарование. Видно, что над писателями тяготеет трафарет, который они не хотят и не могут сбросить. Не говоря о бульварных романах, но и в таком вполне грамотном произведении как «L'escorché» Де Траз коммунизирующая русская берет папиросу со словами: «Русь святая». Это без шуток. Вот на этой «славянской сложности» с одной стороны и на трафаретности и глубочности с другой строятся русские типы, которые, как герои культурной комедии, повторяются и возвращаются с маленькими вариациями почти во всех произведениях подобного рода. Первое и почетное место нужно отвести женщине по обеим сторонам русской границы, далее ее компаньону, бывшему прежде князем, теперь же замененному ответственным большевиком.

Основные моменты, из которых строится тип русской женщины следующий: полное безделье, заменяемое сейчас иногда политической активностью, курение, лежание на диване, разговоры, отвращение к семье и хозяйству, большая свобода в любви и известная демоническая притягательность, действующая как на соотечественников, так и иностранцев; за последнее время прибавилась одна особенность, а именно нечеловеческая жестокость, часто доходящая до садизма (классическим примером может быть Муравьева в *La madonne des sleepings*), так как новые героини так же как и их партнеры часто принадлежат к разряду большевистских комиссаров, особенно чекистов, или по крайней мере имеют с таковыми любовную связь. Отсюда целый ряд кровавых картин в роде раздевания и расстрела в «*Le madonne des sleepings*» или привязывание к позорному столбу в «*Le bolchevique*». Курьезно, что этих свойств, до жестокости включительно, по только тихой, а не бойной не избежал Де-Траз, который во французской части своего романа дал очень правдивую и живую картину буржуазного общества Женевы; у данного автора можно объяснить, пожалуй, некой традицией, которую он старается провести, а именно

предостеречь от смешанных браков, для чего, конечно, русская изображена, истинным чудовищем. Кроме того Де-Траз является конечно, защитником Запада перед Востоком, и ни у кого так явно и сознательно выявляется не только ненависть, но и страх перед чем то непонятным, что движется и придвинулось, пожалуй, уже вплотную к Европе, что входит во все поры и разлагает устой буржуазной жизни. Поэтому для него безразлично, эмигрант или большевик, так как он выступает не против политических теорий, а против заразы иными, чуждыми идеями и вкусами. Абсолютно счастливое исключение составляет Лиза в «*La porte du Sauveur*». Можно смело сказать, что мало даже русских романов и повестей из современной жизни, которые бы с такой точностью и объективностью передали душевную картину человека, понавшего после нескольких лет отсутствия обратно в Россию. Автор благообразно воздерживается от описаний настоящей большевистской жизни, так как коммунистка Ирина лицо довольно эпизодическое и взято в личном разрезе. Героиня — Лиза прежде всего живой человек, сделанный по жизни, а не по одному пригодному для всех, а потому и затрепанному образцу, даже ее немного мелодраматическая смерть—она занесена снегом при возвращении в Европу—воспринимается скорее, как завершительный аккорд, создающий настроение, чем как деталь, долженствующая придать описанию точность. Лиза мягка, нерешительна, но в то же время полна стремления познать, понять и полюбить, это Тургеневская девушка, которая никогда не вымирала абсолютно в России, но только проектируемая в современности.

Человеческий образ Лизы не искажен многочисленными любовными авантюрами, которыми награждают своих героинь французские романисты, вне любви почти не могущие представить себе женщины. Насколько мало понятия для них женщина просто как человек, видно из того факта, что те из героинь, которые стремятся к науке или занимаются ее, никогда не доводят до конца. Сначала это довольно непонятно, если принять во внимание, что именно курсистки, а ранее нигилистки и революционерки привлекали внимание иностранных писателей, по мере рассмотрения материала становится ясным, что наука или подкидывается и виде экзотической декорации, или объясняется истеричностью и калпризом русской девушки, о которой с западной точки зрения никогда нельзя сказать, чего она хочет. Такими красивыми аксессуарами служит стремление к науке и университет в «*Agiane*» — в одноименно романе С. Анст, ничто иное, как добавление к любви они и у Тразы в «*L'escogché*». Для обоих любовная постель затмевает все прежние разговоры о науке несмотря на то, что именно французские и швейцарские писатели могли иметь массу противоположных примеров в лице русской женской учащейся молодежи, столько работавшей и много достигшей как раз в этих землях.

Если ограничиться этими чертами при определении общего типа современной русской женщины, которая достигла гигантских размеров в «Cavalière Elsa», то можно перейти к подобной же работе над мужским типом. Конечно, наиболее привлекательным героем, заменившим русского богача и князя, является коммунист комиссар, часто он бывает евреем, но это лишь необязательная деталь, так как евреями бывают обычно второстепенные персонажи. Как ни странно, но во всех этих литературных произведениях мы не встречаем убежденного коммуниста, который старался бы оправдать свои поступки и особенно жестокость, какой бы то ни было необходимостью или идеей. Поверхностный взгляд, что всю революцию изобрели жулики и мошенники для своего удобства господствует почти всюду. Таким образом одной из доминирующих черт этого типа является беспринципность и жажда жизни, понимаемая в самой примитивной форме. Подобных людей мы встречаем и в «Cavalière Elsa» и «La madonne des sleepigns» и в «Le bolchevique» и в «L'escorché» и в ряде иных. Вместе с неизбежной жестокостью эти свойства составляют основу мужского характера, из них вытекает и все остальное, как то — изнеженность, любовь к роскоши и женщинам. Все это, как и в женском типе, дается довольно примитивно, причем бросается в глаза какая то сказочная, восточная роскошь. В этом отношении описание костюмов и интерьеров стереотипно; одежда героев состоит из шелковых, а иногда из даже парчевых рубах, сделанных, конечно, из церковных риз, далее особенно точно описываются высокие сапоги; комнаты, где живут эти сверх-человеки, наполнены коврами, мехами, подушками, иногда награбленными произведениями искусства, также как и драгоценностями. В этой опереточно-гаремной обстановке они насилуют женщин самого высшего общества, которые часто став их любовницами, превращаются в жесточайших властителей чуть ли не целого народа. Как уживается полное невежество, часто даже безграмотность, этих сатрапов с их изнеженностью и утонченностью остается тайной породивших их авторов. Есть еще одно излюбленное противоречие, психологического порядка, к которому часто прибегают французские романисты, а именно, создавая тип мужчины, они охотно подчиняют его женской воле. Пункт этот может найти свое объяснение или даже исход в самой русской литературе, где часто, в особенности в течение 19-го столетия, противопоставляли сильную женщину слабому мужчине. Так например у С. Анет в «L'amour en Russie» видно прямо, что автор руководится какой то традицией, которую он принимает на веру без проверки. То же явление, но уже в более гротескной форме, проявляется при привнесении коммунистического элемента, например в «La madonne des sleepigns», где влиятель-

ный большевик находится всецело в руках своей любовницы; с большей или меньшей степенью правдоподобности тот же факт повторяется в «La venus internationale» и в «La cavalière Elsa». При этом еще раз бросается в глаза насколько французские писатели мало заботятся о натуре, с которой они пишут, и полагаются на установившуюся традицию, вернее штамп, при изображении русских, штамп, который остается неизблемым вот уже несколько десятков лет, который не может поколебать даже непосредственная встреча с русскими. Любопытен до крайности в этом отношении Anet, предпославший своей книге о русской любви психологический этюд об особенностях русских эротических отношений и, в то же время, делавший самые грубые ошибки в таких элементарных вещах, как имена: один из рассказов его любовной серии носит совершенно невозможное и нелепое название — «Соня Григорьевна».

Все это могло бы быть смешным и незначительным явлением, составляющим принадлежность второразрядной французской литературы, если бы одновременно оно не было бы признаком одного все более и более ширящегося явления — я подразумеваю интереса, полного опасения и очарования, с которым и Европа, в нашем случае Франция, смотрит на Восток, в частности на Россию. В начале нашей статьи мы указали, что массовое появление русских тем во французской литературе является некоей модой, вызванной, однако, не литературными, а скорее социальными и отчасти политическими причинами. Добавим сейчас, что у европейских народов, неудовлетворенных результатами войны, есть «влечение род недуга» к России, в которой происходят непонятные, но громкие события. Влечение это, однако, идет не по прямой и здоровой линии симпатии одного народа к другому, а может быть определено довольно затасканной теперь поэтической формулой:

Есть упоение в бою
И мрачной бездны на краю,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.

Словом, все то, что грозит, «для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». По преимуществу это, конечно, относится к интеллигенции и к соприкасающимся с нею и зараженным ее идеями кругам. Кроме того, все тем же недовольным европейцам начало казаться сначала в Германии, а за последнее время и во Франции, что многие несовершенства жизни происходят от утомления и истощанности самой Европы. Тогда повторялась старая песенка о «свете с Востока», которую напоследок пропели некоторые круги в славянских землях, главным образом в Польше и в России. Однако, те, кто открыл снова этот живительный

источник, обратились не к славянам или лишь частично к ним, причем одни хватились за их азиатизм, другие за большевизм, пропуская постоянно между пальцами самую сущность этого племени. Как некогда во время мировой войны во Франции представляли себе Россию и вообще славянских союзников в виде все раздробляющего вала (roulot slave), так теперь в них видят такое же массовое явление, долженствующее очистить атмосферу и дать силу древней почве. Не нужно себе все же представлять, что подобное умственное движение захватывает чрезвычайно широкие круги, наоборот, среди масс и их представителей господствует гораздо более распространенное и враждебное первому мнению, что Восток и его славянский авангард являются опаснейшими врагами Европы, что славянский вал сметет и уничтожит всю тысячелетнюю культуру, накопленную Европой. Я глубоко убеждена, что эта антитеза вызвана первой тезой, так как большинство тех, что борются с проникновением азиатизма и славянства, почти спокойно смотрят на вторжение черной культуры, будь то в виде джаз-банда, дамских украшений, скульптуры и литературы, не замечая, что подчинение наших современников вовсе не детски примитивной, как это полагали сначала, а очень зрелой и даже упадочной черной культуре, означает некоторое недомогание и белого организма. Во всяком случае и с той и с другой стороны остро выдвигается восточный вопрос, быть может в иной форме, чем это было пятьдесят лет тому назад, иначе, чем его формулировали тогда европейские политики и дипломаты и русские писатели с Достоевским во главе, но все же он выдвинут настолько, что мимо него не могут пройти не только сколько нибудь мыслящие люди, но и те, что хотят идти в ногу с временем и которым необходимо привлечь к себе внимание публики. В доказательство, что все это не плод фантазии советую открыть любой французский журнал, просмотреть любую библиографию за неделю, что бы увидеть там ряд статей и книг на эту тему. Вся упомянутая французская литература на русские темы и является одной стороной общего явления. Мы видели, что большая часть под видом развлечения вменяла читателям известную осторожность, опаску к русским, которые, натворив всяких чудес дома, рассеялись по Европе, внося и здесь беспорядок и раздор. Я сама указывала, правда, что среди массы этой литературы появляются отдельные симпатизирующие произведения, но они, как и приверженцы аналогичных теорий, оказываются в меньшинстве.

Как раз несколько месяцев тому назад вышла книга Г. Массиса «Защита Запада» («La défense de l'Occident»), наделавшая столько шума и ясно разграничивающая оба лагеря. Правда, Массис, сравнительно правый, католик, приближающийся к лагерю Action française, но благодаря некоторой

чрезмерности у него ярко и ясно выступают интересующие нас идеи. Прежде всего, что такое для Массиса Запад и от чего надо его защищать? Запад это прямой наследник великой римской империи, это мир католический, а защищать его нужно от восточных варваров, чей авангард перешел в Германию, которая благодаря протестантизму и реформации не принимала участия в создании вечной европейской католической культуры. Но, конечно, очаг всех несчастий это Россия и «те нации новых формаций, которые не шли тем же шагом, что и остальные по дороге человеческой цивилизации и которые связаны лишь искусственным и неполным образом с телом Запада» (стр. 19.). Ведь, «до сих пор ужасные вопросы, которые ставит пробуждение народов Азии и Африки, поднятых большевизмом против цивилизации Запада, оставались почти непонятными» (4 стр.). И вот эти варвары, разбуженные не менее дикой Россией, с которой связаны какими-то внутренними узами и остальные славяне, посмели заговорить своим языком. Из презрения или ненависти Массис признает, что прежние русские, ездившие растрчивать свои капиталы по французским курортам и смотревшие как подбострастные ученики в глаза каждому европейцу, были вполне сносны, но русские, рискнувшие иметь свой взгляд, для него лишь взбунтовавшиеся рабы.

«Россия рождает опасность только в том случае, если остальная Европа предоставляет ее в распоряжение ложной идеи о своей оригинальности, которой она, по всей вероятности, не обладает, и допускает, чтобы она объединила толпу диких народов центральной Азии, народов совершенно беспомощных самих по себе, но способных к дисциплине и организации вокруг московского Чингисхана в том случае, если выпустить их из поля нашего зрения». (72) Так подкрепляет себя цитатой из Ренана Массис, который берет доказательства для своей теории там, где он их находит. Результатом ослабления бдительного надзора за Россией, которая при Романовых была авангардом Европы в Азии, может быть новое нашествие варваров. «Возвращение варваров, то есть новая победа менее сознательных и менее цивилизованных частей человечества над более сознательными и цивилизованными, не кажется уже нам таким невозможным. Большевицкая революция приучила нас к этой мысли, еще вчера столь чудовищной, но которая теперь проникла в наш мозг». (7 стр.). Насколько всякое общение с Россией считается опасным и вредным для Европы не только одним Массисом, мы можем судить хотя бы по второму номеру нового журнала «La revue des vivants», где г. Жувенель в статье, озаглавленной «En résumé», заявляет, что пока Германия не отвернется от России, она останется врагом Франции.

Для того, чтобы подтвердить свои взгляды на ту опасность, которую несет с собой Россия, Массис прибегает то к характе-

ристике русского народа, то к его истории. Его картина до странности совпадают с той, что набрасывает большинство разобранных нами писателей беллетристов. Для них русский народ, это «masses barbares», которые непрестанно противились введению европейской культуры, хотя бы в форме католичества и по крайней мере латинского богослужения, и которые прозябали вдали от «стран, где концентрировались очаги веры и науки». Выворачивая наизнанку Чаадаева, любящего до отчаяния Россию, Массис цитирует его в следующей связи: «Если бы Петр Великий нашел среди своего народа богатую и плодотворную историю, живую традицию, глубокое обоснование институции, неужели он бы не поколебался и оторвал бы его от прошлого и не стал бы он, наоборот, искать в этом основ для реорганизации своей страны» (88 стр.). Вот до чего может довести чрезмерное русское стремление к самокритике, которое по отношению к отдельной личности так бесподобно выразил Ф. Достоевский в «Преступлении и Наказании». Быть может в этом и есть доля восточного образа мышления, об этом я не берусь судить, но не нельзя же все таки каждое слово принимать и толковать вне всякой связи с остальными и нельзя хотя бы даже на основании Чаадаева и М. Горького (11), утверждать что «нет такого абсурда или безнравственной идеи, которые не нашли бы своих последователей и учеников среди этого невежественного и несчастного народа». (91 стр.). Далее уже дело доходит до вопросов религиозных, в которых католик без опасения и без всякого знания вопроса нападает на православие, которое загубило русский народ, точно так же, как протестантизм немецкий. Германию, правда, могло бы спасти сближение с романским миром, подчинение ее культуре, но к ее несчастью воспитателем ее молодежи является никто иной как Достоевский, что к своему великому неудовольствию за самими немцами должен констатировать и Массис.

Не будем, однако, уподобляться самому Массису в его стремлении к обобщению и утверждать, что во Франции преобладает враждебное настроение по отношению не только России, как государства, но и как народа. Конечно, как оформленное направление, это настроение существует лишь в узком кругу, преимущественно право настроенных элементов, в одну кучу смешивающих и демократию и социализм, которые, по их мнению, ослабили западные государства, и всякий мистицизм, то есть свободный полет духа, который необходимо подавить выкладками разума. И все же несмотря на свою ограниченность это явление симптоматично, так как в виде легкого презрения к русским и вообще к славянам оно существует и в широких массах. Кроме того имеется и чувство некоторого неблагополучия или по крайней мере необходимости перемены жизни Европы, с вытекающим из этого интересом к ближнему и дальнему Востоку, интересом, который про-

является неожиданно в таких беспечных и, казалось бы, идеологически отдаленных произведениях, как, например, вышедшие за последние месяцы «Eglantine» J. Giroudoux и «Bouddha vivant» P. Morand. Все это и создает ту атмосферу, в которой, как в теплом парнике, растут литературные произведения, разобранные нами. Исключив то, что принадлежит действительно литературе, как то Bugnet, отчасти Kessel, Anet и Traz, мы оказываемся лицом к лицу с второразрядными и заведомо невежественными произведениями, именно и питающими самые широкие массы и от них же черпающими свои вдохновения. Невежество же это происходит не от формального незнания или невозможности познать, а от заранее предвзятого взгляда, который не позволяет писателю перешагнуть даже через самый низкий барьер, уничтожить самую малейшую преграду.

Н. Мельникова-Папоушек.

Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка
с испуга
или со льда,
ладони
держат
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клочок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам!
Фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят:
«Очень хорошо!»
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера,
шли
на дно,
как идут
обломки —
и жестянки
консервов.

И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе».
Уставился Блок —
и Блокова тень,
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз...
Живые
с песней
вместо Христа
Люди
из-за угла.»

Чрезвычайно любопытны записи воспоминаний Германа Лопатина о Тургеневе, сделанные г-жей Струмилиной-Петрашев-вич («Красня Новь», — август).

В предисловии к этим записям Н. Пиксанов указывает, что Тургенев очень любил Лопатина, этого «несокрушимого юношу и умницу».

Как известно, Тургенев материально помогал изданию Лавровского журнала «Вперед». Он далеко не разделял программы журнала, говорит Г. Лопатин: «Но он говорил: это бьет по правительству, и я готов помочь чем могу».

Тогдашний строй давил Тургенева и свобода нужна была ему не только, как теоретический принцип, как программное пожелание. Он нутром страдал от отсутствия этой свободы у себя на родине и всем нутром ждал наступления ее в России.

Тургенев допускал, что социализм, может быть, и будет вен-

цом социального развития человечества, но социализм рисовался ему в такой дали, что еле верилось в него. Ему казалось, что ни технические, ни экономические, ни моральные предпосылки не созрели еще для проведения его в жизнь. А кроме того, его смущали сомнения, сможет ли социализм удовлетворить индивидуальным запросам и индивидуальным вкусам будущего общества.

— Ведь не будем же мы в самом деле, — говорил Тургенев, — ходить по Сен-Симону, все в одинаковых желтых курточках с пуговкой назад?

В нас Тургенев ценил людей, ради идеи ставящих на карту жизнь свою.

Было что то неподдельно отеческое в отношении Тургенева вообще к молодежи. И, пожалуй, он больше любил «буйных» сынов своих. Ибо по его понятиям, как было молодому человеку и не буйствовать! «Буйные» были ближе и приятнее душе его... Конечно, он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам».

Когда весной 1879 г. Тургенев приехал в Россию, произошло его так называемое «примирение» с молодежью. Лопатин, живший тогда нелегально, поселил Тургенева в Петербурге, куда писатель приехал после московских чествований.

«Прежде, чем войти, я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию. Кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда.

Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул: — Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?... Потом он рассказал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и чествовании.

— Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство.

Тургенев красочным жестом показал, как это делается.

— Ну, и пусть, я очень рад, — закончил Иван Сергеевич. Умный и скромный был человек Тургенев.

Заходил я к нему еще раз или два. Однажды прихожу я к Ивану Сергеевичу, а он встречает меня словами:

— Как я рад, что вы пришли! Вы нужны мне были. И, взяв меня за плечо, заговорил взволнованно:

— Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите отсюда! Скорее! Я знаю, я слышал, не сегодня — завтра вы будете арестованы.

И сколько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю в голосе И. С.»

Лопатин не поверил передаваемым Тургеневым слухам и из Петербурга не уехал. А через два дня его арестовали.

«Но до ареста я успел еще раз повидаться с Тургеневым.

На другой день после нашего разговора я опять зашел к нему. Смотрю вещи собирает.

— Иван Сергеевич, да куда же вы? Вы же хотели пожить здесь? А вечер в Дворянском Собрании, на котором нас собираются еще чествовать?

— Нет, батюшка мой, оставаться больше не могу. Приезжал флигель-адъютант его величества с деликатным вопросом: его величество интересуется знать, когда вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть за границу?

— А на такой вопрос, — сказал Иван Сергеевич, — может быть только один ответ: «сегодня или завтра, а затем собрать свои вещи и отправиться».

О последней своей встрече с Тургеневым Лопатин рассказывает так: «попав в последний раз за границу, я в Париже получил письмо от Тургенева с просьбой приехать к нему в Буживаль. А Буживаль ведь не близко от Парижа — пять франков. Я привык в это время считать расстояние на франки. Я поехал. Встретила меня там m-me Виардо далеко не любезно и не хотела пустить к Тургеневу, ссылаясь на его тяжелое состояние. Как пропуск, я показал ей письмо Ивана Сергеевича и прошел.

Время было неудачное. Тургенев корчился от боли. У него были ужасные боли где то около позвоночника. Ему только что впрыснули морфий и он должен был заснуть.

Увидев меня, Тургенев обрадовался: — Я не могу говорить сейчас, — сказал он, но мне необходимо увидеть вас еще раз и переговорить с вами.

Я хотел что то сказать, но Иван Сергеевич остановил меня.

— Молчите, молчите, — сказал он, — дайте мне договорить, а то я сейчас засну. Вы приедете еще раз ко мне непременно.

Я ушел. И все собирался с'ездить. Но... пять франков! Вы понимаете? И вдруг я узнаю, что он умер... А несказанное, так и осталось несказанным».

«Печать и революция» — один из самых серьезных русских журналов. Помимо обширного и отлично поставленного отдела библиографии, в нем всегда находишь интересные статьи и обзоры, и материалы по истории литературы и искусства.

В последних двух книжках (4-6) наиболее интересные статьи *Б. Песиса* (писательские настроения в современной Франции) и *Ж. Дюамеля* «Писатель и события». Редакция оговорила, что не разделяет мнений французского писателя, да и это понятно. Дюамель ставит вопрос о том, может ли писатель замыкаться от мира в башню «слоновой кости» по выражению А. де Виньи. Он приводит длинный список имен, из которого явствует,

что начиная от Аристотеля и Данта и кончая Верленом и Зола, писатели и художники принимали участие в событиях своего времени и в политических столкновениях партий.

«Нельзя раз'единять человека и художника, заявляет Дюамель. Призвание последнего в сильной степени подчленено поведению первого». Опыт писателя имеет источником своим опыт человека участвующего в жизни.

И в то же время духовные вожди человечества не должны покидать его в час испытания, и обязаны направлять и освещать его искания.

Но Дюамель тут же прибавляет: «Политика, это слово, ставшее лозунгом группы писателей, более склонных к полемике, чем к творчеству, это слово, заключающее в себе целую доктрину, увлекает нас с путей искусства: оно грозит заставить писателя потерять смысл своего призвания, перестать быть писателем и сделать его газетчиком, орудием партии. Я думаю, что правильно и прекрасно, чтобы в известные моменты писатель становился на чью либо сторону. Но именно писатель должен выбирать себе сторону, а не сторона завладевать писателем».

Многие из коммунистических критиков, требующих от писателей «служения революции» и «пролетарской линии» должны были бы хорошенько подумать над этими словами Дюамеля: «писатель должен быть вождем, руководителем, вдохновителем. Стать покорным слугой, адвокатом на жаловании — равносильно для него падению. Он возжигает факел, он приносит себя в жертву. Не делайте из него исполнителя мелких дел. В искусстве есть свое величие и свое служение: но служение это не рабство и раболепство. Сам писатель должен определить свой долг и точно выполнять его». «Или писатель, убежденный сильными доводами, потрясенный глубокими побуждениями, примет участие в битве, ни на минуту не оставляя руля, не насилуя своей собственной воли. Или же он без оглядки отдастся призвавшим его силам и станет рабом определенной группы, пленником определенной доктрины. Это последнее положение так противно самой природе художника, что кажется излишним говорить о его законности».

К сожалению указаниям Дюамеля не внял скучный комкритик *А. Дивильковский*, разбирающий произведения о комсомоле и комсомольцах («Юнсектор литературы» — «Печать и революция», июль-август) и весьма интересующийся, насколько «истинно пролетарский реализм молодых соответствует всем правилам комкритики».

В том же номере журнала помещена вздорная статья *М. Нечкиной* «Капитал» К. Маркса, как художественное целое». показывающая, до какой нелепости можно дойти в фетишизме Маркса, и письмо из Парижа некоего К. Самарцева, описываю-

щего русскую эмиграцию во Франции в весьма непривлекательных красках. С истиной Самарцев обращается весьма вольно, считает, что большинство русских эмигрантов в Париже занято «двусмысленными профессиями» и «кабацкими делами» и совершенно игнорирует и трудовую, рабочую часть эмиграции, составляющую теперь ее большинство, и ту культурную работу, которую производит интеллигенция. Любопытно, что Самарцев поражен «неосведомленностью» эмиграции в настроениях внутри СССР, а дискуссии зарубежной прессы считает «циклоном в стакане воды».

Минуя другие политические группировки или отделиваясь от них общими фразами, парижский корреспондент толстого журнала останавливается робко лишь на евразийстве, представителям которого он считает «денационализированной буржуазией, занявшейся интеллигентскими вымыслами».

За исключением романа *Л. Леонова* «Вор», о котором подробно придется говорить, когда он появится в отдельном и полном издании¹⁾ беллитеристика «Красной Нови» в этом году удивительно тускла. Правда, в сентябрьской книжке есть некие «проблески»: в ней помещены интересные начала двух произведений: широко задуманного романа *С. Сергеева-Ценского* «Обреченные на гибель» и повести *Н. Никитина* «Преступление Кирилла Руденко». Но, насколько можно судить по началу, Никитинское описание жизни фабричного поселка, главным образом его молодежи, не выйдет за пределы самого обычного ныне бытового повествования.

У *С. Ценского* изображено разом множество ярко нарисованных интеллигентских фигур. Доведеет ли до конца писатель свое размахисто набросанное полотно, не сорвется ли, как это бывало с ним в других произведениях покажут дальнейшие главы.

В статейном отделе — характеристика личности *Александра III*, этого самого скучного из русских императоров, сделанная *Г. Чулковым* в обычной для него живой полубеллетристической манере психологических портретов. *С.Третьяков* печатает свои бойкие впечатления о путешествии из Пекина в Москву через пустыню Гоби.

Воспоминания *С. Елатьевского* о Горьком, Чехове и Толстом особенного интереса не представляют.

Б. А.

¹⁾ В «Красной Нови» роман помещен не целиком, объем его оказавшись чрезчур велик для журнала.

КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

Б. ПИЛЬНЯК. Расплеснутое время. — В. ИНБЕР. Довец Бомет. — И. НОВОКШОНОВ. Таежная жуть. — Л. НИКУЛИН. Адъютанты господ бога.

Новая книга рассказов *Б. Пильняка* обрадует тех, кто верил не только в талант, но и в возможность роста писателя. Уже по поводу «Повести о непогашенной луне» мы отметили на страницах «Воли России», что Пильняк вступил на новый путь: его стиль сделался сдержаннее и острее, композиция обдуманнее, слог проще. Он отказался от словесных ухищрений, от той нарочитости и претенциозности, которой отличались многие прежние его произведения. И в то же время усилились его художественная зоркость, соединение лирики с бытописанием и, особенно, стремление подойти к «самому главному» в человеке и жизни.

Большинство рассказов нового сборника — о человеческих крушениях, о трагедиях и трагедийках жизни, о власти пола, смерти, земли. Характерно, что почти все они вне революции; а действие некоторых из них — вне России. В древней японской столице — встреча с человеком, которому «нету места в мире» и который блуждает, точно вечный жид, точно его родной, испепеленный и рассеянный еврейский народ («Олений город Нара»). В Японии переживает трагедию русская девушка, вышедшая замуж за японца: он стал знаменитым писателем, описав в романе свою жизнь с женой — клинически подробно. И за это страшное предательство, случайно узнав о нем, она покидает мужа («Рассказ о том, как создаются рассказы»). В Монгольскую степь едут колонизаторы-англичане, и страшная пустыня, древняя земля всадников и гунов прогоняет непрощенных гостей («Большое сердце»). В Палестину идет русский пароход с евреями-переселенцами, по долинам Иудеи ездят коммунист

Александров, восхищенный страной иудеев («Рассказ о ключах и глине»).

В русских рассказах — нет революции, и только изредка современность врывается намеком или отзвуком. В «Снегах», одном из лучших рассказов — дворянские усадьбы перед революцией, опростившийся Полудни, напоминающий толстовского Левина, и изломанная Ксения Ипполитовна, приехавшая из Парижа и жаждущая материнства. В «Грэгго Тримунтан» — трагедия любви и лжи, в эпоху без названия.

Не случайна эта попытка Пильняка выйти за пределы быта. Умный и чуткий писатель, он понял необходимость преодолеть тот бытовой материал, который заполнил русскую литературу за последнее время. Быт превратил человека в принадлежность картины, в часть описания, человек потерял свое центральное значение. Последние рассказы Пильняка говорят именно о человеке, его страстях, неудачах и тоске. Быть может, главный недостаток их в том, что обнаженность «проблем» уменьшает типичность действующих лиц. Психологические и идейные конфликты составляют основу всех рассказов, и порою это в ущерб какой то плотской жизненности, осязатимости персонажей.

Иной раз кажется, что и в этом есть известная нарочитость, что художник намеренно скуп в наделении своих героев яркими индивидуальными чертами. Он точно стремится подчеркнуть, что по существу, люди, птицы, звери — одинаково схожи и ничтожны пред лицом природы и уничтожения.

Как медведь в чудесном рассказе «Год их жизни», охотник Демид из таежного урочища ищет себе пару, любит весной и буйным летом, накаливает силы в снегах, бережет детеныша. И по звериному любит, радуется и чувствует ребенка его прекрасная жена. Их жизнь — в лад бегущим дням, смена весен и зим, они без мыслей подчиняются тяготению страсти, боли рождения, они безропотно примут смерть, — и вот это самое настоящее — то, что от земли, от лесов, от мира. И быть может самое мудрое разрешение всех человеческих несчастий и сомнений — в каком то согласии с тем, что дышит в бытии звезд, лесов, людей, в отказе от лжи и суеты, которые все равно пройдут — потому что над ними — закон смерти.

Среди дешевой и пестрой толпы наших книжных новинок, выделяются эти невеселые рассказы Пильняка. Правда, есть в них и недостатки, и неровность, порою эскизная невнятность — но это «настоящая литература» подтверждающая, что творчество Пильняка становится глубже и увереннее.

**

К стихотворным безделушкам небольшой, но талантливой

повтессы Веры Инбер присоединились теперь ее рассказы, собранные в книге «Ловец комет». Это милые, проникнутые легким юмором и легкой печалью повествования о детях и животных, о молодости, о краже вишен в саду и калеке-мальчике, изучающем звездное небо.

Пожалуй лучший из них — о девочке Мае, приехавшей в Крым к своему дяде, хранителю музея и любителю старины. Дядя рассказал Мае миф о Церере, желавшей сделать неуязвимым сына Прозерпины и сажавшей его в огонь. И в тот же вечер Мая посадила в горящий камин своего годовалого братца и едва не сожгла его. Все кончается благополучно, только старый дядя после приложения мифа к действительности и «советских ответов» Май решает, что все изменилось, даже дети, и пишет приятелю: «что было хорошо для нас — губельно для них. И наоборот»....

Незатейливые по мысли и по форме, то освещенные лукавой улыбкой, то оживленные шуткой, — эти коротенькие рассказы принадлежат к приятному, но легко забываемому жанру «литературных миниатюр».

Читатели принимают их хорошо, и забывают с той же легкостью, как и критика.

**

За последнее время в советской литературе чрезвычайно привился особый жанр. Это повествования-хроники, описывающие различные эпизоды гражданской войны с утомительными подробностями, явно носящими автобиографический характер. Вместо того, чтобы попросту писать воспоминания, многочисленные участники партизанских восстаний и боев пытаются изобразить в виде романов или повестей наиболее выдающиеся события своего близкого прошлого. Но вместо художественных произведений получается сырой материал, грубые, «дымящиеся кровью куски действительности». Быть может занимательно слушать устные рассказы о них, но очень утомительно читать эти вялые потуги их художественной обработки.

Таков и роман сибирского писателя *И. Новокшопова*. «*Таежная жуть*», посвященный десятилетию октябрьской революции. В нем описывается взятие Иркутска анти-большевиками и чехами, Колчаковщина, зверства белых, партизанское движение красных. На каждой странице — расстрелы, убийства, взрывы, поджоги — нагромождение ужасов такое, что уже после нескольких глав они совершенно перестают производить впечатление на читателя. При этом — ни одного «лица» — все герои — деревянные куклы, без малейшего намека на человечес-

кие признаки, за исключением способности проливать кровь и истекать кровью, убивать и умирать.

Хотя автор и стремился удержаться на какой то грани якобы безпристрастия, все «белые» вышли у него извергами, а все «красные» — героями. Некоторое исключение сделано только для чехов: мелькающие два или три раза фигуры чешских военных представлены в довольно выгодном свете. Чехи, по изображению автора, холодные ревнители закона, ограничивающие самосуды и жестокость русских «белогвардейцев».

Упомянуты чехи (Кратохвиль), перешедшие на сторону большевиков и занятно описан эпизод с задержанием поезда Колчака на станции Зимы и переговоры партизан с командиром чехом Ваня.

А в общем — безцветная книга, ненужный жанр. Он не годится даже и для агитационных целей. Для чего же печатается подобная макулатура?



В об'емистой хронике *Л. Никулина* «Адьютанты господ бога» изображены годы 1915-1917 — преддверие революции. Действующими лицами в ней являются царь, царица, Распутин, Штурмер, Манасевич-Мануйлов, Протопопов, министры, придворные, интриганы и прихлебатели. Книга составлена по материалам и воспоминаниям, опубликованным в последнее время, написана грамотно и довольно сдержанно. Конечно, это не исторический роман, не художественное произведение, а довольно толковое изложение событий в беллетристической форме. К чести автора надо сказать, что он умело обошел «опасные» места: нет в его книге ни чрезмерной тенденциозности, ни увлечения анекдотом. Но нет в нем и живых людей. Кой какие персонажи ему удалось, напр., Манасевич-Мануйлов, но большинство из выведенных им лиц интересны только потому, что читатель достаточно осведомлен или наслышан о Милокове или Протопопове, о Бадмаеве или ген. Алексееве. Занимателен сам по себе тот еще близкий нам и волнующий материал, который в хронике дан, а вовсе не люди, в ней выведенные, или самое изображение событий.

Л. Никулин попытался склеить отдельные картины своей хроники вводными героями: есть у него и работница Катя, влюбленная в ефрейтора Титова, и молодые революционеры — Ольга и врач Михайлов. А их в свою очередь связывает некий американец Кид, в котором легко узнать небезизвестного Дусона Рида, перешедшего к большевикам.

Читая «Адьютанты господ бога», невольно вспоминаешь книгу Кесселя и Извольской «Les rois aveugles». Французская хроника предреволюционных лет стоит гораздо выше рус-

ской. И в «Слепых королях» не удалось то глубокое соединение материала с творческим вымыслом, которое одно только и может беллетристическую хронику превратить в настоящий *исторический роман*. Но в книге Кесселя есть захватывающие страницы, как, напр., потрясающая сцена убийства Распутина, в ней тонкие психологические характеристики: в памяти читателя остается и образ Белецкого, и Распутина, и кн. Юсупова.

А у Никулина — фильм, повествование о внешнем, бойкий, принаряженный пересказ прочитанного.

Конечно, хроника его будет пользоваться некоторым успехом (недаром на обложке значится — 9-ая тысяча): но это объясняется живым интересом к событиям, описываемым в книге, а не достоинствами этого описания.

М. Сл.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

Г. ВИНОКУР. БИОГРАФИЯ И КУЛЬТУРА. Труды художественной Академии Наук. Философское отделение. Вып. II. М. 1927. стр. 86. 75 к. 2000 экз.

Памятуя мнение Веневитинова — «на все равно распространяется наблюдение истинного филолога» талантливый лингвист Г. О. Винокур выпустил теперь содержательный этюд в защиту «биографии, т. е. личной жизни в истории — следовательно истории личной жизни». «Значение человека, приводит он слова Гете, не столько в том, что он оставляет после себя, сколько в том, как он действует и что испытывает, и как побуждает других действовать и испытывать». Так, для Г. О. Винокура — «слово не только знак идеи, но и поступок в истории личной жизни», «творчество поэтическое наслаивает на объективную структуру слова субъективно-персональное, биографическое, авторское «дыхание», «стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни» Отсюда и допустимость для биографа одной критики биографии в

«подлинно научном смысле значения этого термина — критики имманентной, т. е. не с точки зрения отвлеченного гипостазированного идеала, а только с точки зрения тех законов и норм, которые мы можем открыть в самой личной жизни, нами изучаемой»...

Защищая свое положение, автор приводит множество любопытных биографических иллюстраций, постоянно обращается он и к философам, касавшимся его темы: Гуссерлю и Шпету, Дильтею и Шпрангеру. Удивляет только вовсе неупоминание Зиммеля с его «индивидуальным законом», столь близким «стилю» и в понимании автора.

Все, что выходит из под пера Г. О. Винокура, свидетельствует о крупном даровании молодого исследователя. С нетерпением ждем обещанной им книги «Русская филология и русские поэты».

Отметим, как неожиданное и светлое явление, что новое поколение ученых, выступающих в советской России в разных областях науки, оказывается философски образованнее, чем предыдущее:

именно философия и поможет молодой науке обрести свой «стиль».

Д. Селиванов.

В.АЛЬБАНОВ. МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ. Дневник участника экспедиции Брусилова. Предисловие Н. В. Пинегина. Стр. 104. Лгр. 1926. 60 к. ГИЗ. 7000 экз.

В 1912 г. Г. Л. Брусилов на собственные средства соорудил судно «Анна», чтобы с промысловыми целями пройти из Петербурга вдоль берегов всей Сибири во Владивосток. Его помощником и штурманом был В. И. Альбанов. Всего на судне было 24 чел., в том числе одна женщина. Путешествие затянулось, стало не хватать провизии. Судно, попав во льды, относилось на запад: «Анне» предстояло проделать путь «Фрама» только в иное, совершенно неблагоприятное время года. Все превратилось в нервно-больных. Начались размолвки. Альбанов просил Брусилова о разрешении уйти с судна на землю Франца-Иосифа, близ которой они тогда находились. Разрешение было получено. К Альбанову примкнуло еще 10 человек команды. Построили нарты и каяки, взяли малицы, ружья и прочее снаряжение, оказавшееся потом очень не приспособленным для предприятия, и провизии в расчете на 2 1/2 мес. пути.

Оставшиеся на судне 13 человек вместе с самой «Анной» пропали без вести. Альбанов, начав странствие 10 апреля 1914 г. с одним лишь спутником — остальные погибли по дороге. — дошел по

льдам, часть пути пришпось плыть, до мыса Флора, здесь они наткнулись на постройки и склады провианта. Через 4 дня, 20 июля 1914 г. их подобрало судно «Св. Фока». С собой Альбанов все же принес ряд документов, имеющих научное значение.

Дневник полон захватывающего драматизма, оставляющего за собой и романы Дж. Лондона. Написано мастерски. Альбанов — прирожденный художник слова, — природу он тонко чувствует и умеет передать. Рассказывает скупое на слова, но выпукло, увлекательно, бодро. Безусловно прав Н. В. Пинегин, говоря: «Вся книга Альбанова — призыв к напряжению воли для борьбы до конца. Он не сетует на своего врага (природу?), а мучится за несовершенство своего оружия и слабость товарищей»...

Жаль, что книга вышла без карты, без иллюстраций. Ей место и в народн. библиотеке, и в школе. Хорошо делает ГИЗ, что выпускает удачно подобранную библиотеку путешествий.

Д. Градарев

ВЛ. Н. ИВАНОВСКИЙ, проф. Белорусского гос. унив. в Минске, член Института научной философии при факультете обществ. наук Моск. универ. **МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ И ФИЛОСОФИЮ.** т. I изд. «Белтrespечать». Минск, 1923 г. стр. VIII плюс 239 плюс 2.

В основу разбираемой книги Вл. Н. Ивановского, философа давшего

в свое время известный новый перевод Миллевской «Логики», положен курс, многократно читанного им в различных университетах «Введения в философию» (изданного в 1909 году). Ныне однако курс этот перестроен по новому плану, рассчитанному на четыре тома: I том — Культурные системы — философия: движение философской мысли и ее формы — философия как методология — классификация наук. Т. II — Методология наук математических, естественных, исторических, прикладных. Т. III — Гноссеологический анализ знания — проблема бытия — теория систематизации знания. Т. IV — Философская теория ценностей — типы оценок — методологические основы отдельных культурных систем в «аксиологическом аспекте».

Задача автора показать путь «через метод и науку к философии», «через науку и философию (как и через технику, общественность, искусство) к культуре». Две трудно совместимые цели преследовались автором: ввести начинающих в круг излагаемых проблем и «помочь превращению русской философии в серьезную школу научной мысли». Стронник научной философии Вл. Н. Ивановский, историк по образованию, стоит за «скрепление образования в единое научное целое научно-философским рассмотрением методологии и истории знания во всех областях».

Наиболее разработана в первом томе «Введения» глава о системах культуры, которые, по мнению автора книги, либо относятся к поведению человека (1. сфера личных эгоистических интересов, 2.

сфера альтруистических интересов, 3. сфера этики), либо к выразительному мышлению (4. жизненная лирика, 5. искусство, 6. религия), либо к познанию (7. наука, 8. техника, 9. философия).

Слишком обще очерчено историческое движение философской мысли и почти не уделено места новейшим течениям в философии. Последнее, повидимому, объясняется отсутствием у автора возможности ознакомиться с мировой литературой предмета за время войны и позже. Наименее удачна глава о классификации наук: следовало бы дать все главнейшие опыты классификации.

Не лишена внутреннего драматизма необходимость для автора защищать самое существование философии от тех, кто провозглашает: «Мы солнце старое погасим мы солнце новое зажжем». Старый профессор скромно доказывает озорливым и еще не приобщившимся философии юношам, что гасить солнце не следует. Социализировать по существу науку нельзя, но наука — по мнению автора книги — может дать материал для художественного творчества («научные мистерии»), история наук может изучаться на фоне социальной жизни и т. д.

То самообладание, которое проявляет автор, объясняется, вероятно, тем, что он полагает: «Наука всегда с победителями, и в этом признак не ее внутреннего, а формального характера самого ее понятия, допускающего в зависимости от логических моментов постоянную изменчивость ее содержания».

Книга не только издана с до-

садными опечатками, но и проредактирована недостаточно тщательно. Так, отмечая, что факт народного недовольства может быть выведен из совершенно другой области, автор поясняет: «например, из констатирования уменьшения роста солдат»... (??). Изложение кое-где не очень четко, например, цитата из Л. Кутюра (стр. 178) и пояснения к ней оставляют неясным различие между проективной и начертательной геометрией. Нет пропорции в распределении материала.

Книга заслуживает переиздания с более тщательной обработкой текста. Несомненно желательно, чтобы начатый и столь своевременный труд был скорее доведен Вл. Н. Ивановским до конца.

Ф. Репейников.

М. В. НЕЧКИНА. ОБЩЕСТВО СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН. «Центрархив» — «Восстание декабристов» — исследование под ред. М. Н. Покровского. М. ГИЗ. 1927 г. Стр. 246. 2 р. 50 к. 3000 экз.

Россия была всегда слишком велика и слишком мало устроена, слишком народный дух ее был аполитичен и не удивительно, что вопросы международной политики были мало популярны даже среди так называемого образованного общества — и интересы славянства как целого также принимались к сердцу лишь немногочисленными группками.

История декабристского общества Соединенных Славян, не толь-

ко задавшегося целью ввести в Россию, как показал следственной комиссией член Об-ва Борисов 2-ой — «чистую демократию, уничтожающую сан монарха и сливающую... все сословия... в одно гражданское», но и стремившегося осуществить федеративный союз всех славян, заслуживает внимания, помимо изучающих историю первых активных русских революционеров массовиков, тех, кто придает значение развитию идеи всеславянского объединения.

Не без влияния польских членов «Общества Соединенных Славян» (Люблинского, Выгодовского и др.) в катехизисе его стояло:

«Ты еси славянин и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре флота: Черный, Белый, Далматский и Ледовитый... В твоих (следовал символический знак порта), славянин, будет цвести торговля и морская сила, а в (символ знак города) посредине земли твоей справедливость для тебя обитать станет»...

«На восьмиугольной печати славянского общества - вернее проекте печати — на каждой грани значатся по славянскому племени: русские, поляки, венгры (!), богемцы, кроаты, далматы, сербы, и мораване. В деле Выгодовского, сохранившем тщательный рисунок этой печати, указаны русские, сербы, мораване, иллирийцы, далматы, богемцы, кроаты, поляки. Эти 8 славянских республик объединились в федеративный союз, «подобный греческому, но гораздо совершеннее». Центром федерации, повидимому, намечена Варшава... Отчасти те же идеи, только с еще

сильнейшей польской окраской, представлены были и в обществе военных друзей, которых вдохновлял шляхтич Руткевич. Как известно, идея федерации славянства не раз воскресала у русских революционеров позже — начиная с Кирилло-Мефодиевского Братства в Киеве в 1846 г. Оно уточнило понятие славянина, отнеся к нему великороссов, поляков, литовчан, иллиро-сербов, украинцев, чехов, корутян, болгар...

Мы остановились лишь на идеологической стороне «Славян». Милица Нечкина дает полную историю возникновения и работы общества. Для книги ей пришлось открыть много недоступных ранее историкам архивов, умело использованных. Книга написана почти художественно: Она необходима историку, увлекательна для рядового читателя.

Л. Залетаев.

LA REVUE LITTÉRAIRE JUIVE

paraissant le 1^{er} de chaque mois

122, bd Murat — Paris 16^e

Directeur: J. Gheler. Redacteur en chef: Pierre Paraf.

Créée dans le but de faire connaître en France les meilleures œuvres de la littérature hébraïque et juive sous la direction d'un comité, composé de personnalités éminentes; publiera prochainement des essais, des contes et des études des plus célèbres écrivains juifs de Palestine et du monde entier. Pour s'abonner, vous êtes prié de détacher le bulletin ci dessous et de nous le faire parvenir.

Prix d'abonnement: France — un an 60 fr. six mois 30 fr.
Etranger — un an 70 fr. six mois 35 fr.

Comité de rédaction: A. Arnyvelde, L. Bernheim, F. Corcos, Ernest Choubs, A. Ferdinand Herold, L. Fildermann, Edmond Fleg, Henry Marx, J. Kessel, R. Lambert, Yvonne Netter, Maxa Nordau, Aimé Pallière, Gaston Rion, Georges Suarez, H. Zlatopolsky.

LE NUMERO D'OCTOBRE EST PARU.

Sommaire: Pierre Paraf: « *Le Judaïsme à Emile Zola* »; J. Gheler: « *Le XV congrès Sioniste* »; Moses Hell: « *Rome et Jérusalem* »; Fernand Corcos: « *Une grande figure espagnole: le senateur Pulido* »; J. Bielinky: « *Mardoche Antokolsky* »; J. Peretz: « *La rose* » (conte); Bialik « *La halacha et l'agada* »; Martin Kuber: « *Ahad Haam* » etc.



Le Gérant: ROSSEL-CHIOT.

Imp. de la Soc. Nouv. d'Edit. Franco-Slaves, 32 r. Ménilmontant Paris.



**РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ**

PROVOLOZKY & C^{IE} 13, RUE BONAPARTE PARIS VI^e

ВСѢ РУССКІЯ И ФРАНЦУЗСКІЯ КНИГИ

ОТКРЫТО БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА СЪ 9 У. ДО 7 ВЕЧ.

Tél.: Fleuras 42-04

au postale : Paris 195-26

R. C. Seine 212-183 B.

Фирма основана в 1910 г.

.....

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

журнала

ВОЛЯ РОССИИ “

Для ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ
и ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

.....

Основные издания на Русском и Французском языках. Все зарубежные издания. Все Книги Советской России. Детские книги. Учебники и приемы и самоучители иностранных языков. Ежемесячные бюллетени всех французских изданий. Каталоги высылаются бесплатно.

— А Н Т И К В А Р И А Т —

Искусство. Книги по искусству. Художественные издания на всех языках.

.....

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

PROVOLOZKY & C^{IE}

EDITEURS

13, rue Bonaparte, PARIS (VI^e)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„Социалист- Революционер“

выходящей под редакцией членов Заграничной Делегации Парии
Социалистов-Революционеров: С. П. Постникова, М. Л. Слоним-
Ма, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина.

Подписная плата:

Во Франции — 1 год — 30 фр. — 6 мес. — 15 фр.
Вне Франции — 1 год — 1,5 ам. доллара. — 6 мес. — 75 центов.

Цена отдельного номера:

Во Франции — 3 франка.
Вне Франции — 20 центов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ:

« Es-Eg ». Société Nouvelle d'Editlons Franco-Slaves.
32, rue de Ménilmontant, Paris (XX°)

АДРЕС ПРАЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ:
S. POSTNIKOFF, Uhelny trh I, Prague, Tchecoslovaquie.

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ № 1.

Содержание:

От редакции: Наши задачи.

На темы дня: Франко-русская дружба и ликвидация англо-русского комитета.

** : Голос ветеранов революции.

Е. Сталинский: Кризис В. К. П.

М. Л. Слоним: Единомыслие или свобода?

Юниус: За кулисами Коминтерна.

Редакция: «Лига Нового Востока».

Иностранная жизнь: Памятник Маттеотти. Заседание И. К. Социалистического Интернационала.

Внутренняя жизнь: Сталин и оппозиция (письмо из Москвы). Об эсеровщине и молодежи (письмо из Ленинграда). На мели (письмо с Волги). Преследования на Кавказе. Письмо московского рабочего. Аресты толстовцев.

Фельетон. В. В. Сухомлин: Украинские сепаратисты и грузинские социал-демократы.